

НОСИТЕЛИ

книга вторая

ЧУЖИЕ ПИСЬМА

Память нельзя уничтожить. Только спрятать.



АДРЕСАТ	ОТПРАВИТЕЛЬ	ИСХОД	ХРАНЕНИЕ	НОСИТЕЛЬ
		адресат не установлен		

05:17

О К С А Н А В О Л К О В А

НОСИТЕЛИ

Оксана Волкова

Чужие письма (05:17)

«Автор»

2026

Волкова О.

Чужие письма (05:17) / О. Волкова — «Автор»,
2026 — (НОСИТЕЛИ)

Психологический триллер о вине, ПАМЯТИ и цене прошлого, которое не хочет уходить. Боль оставляет след. Письмо — тоже. Особенно то, которого не должно было быть. Восемь лет Мира разбирает чужие архивы. Она читает людей по почерку — нажим, наклон, дрогнувшая рука выдают ложь. Не было руки, которую она не смогла бы опознать. Пока на её стол не попадает коробка старых писем. В ней — конверт с её именем, выведенным незнакомой рукой. На обороте штемпель «адресат не установлен». Того, кому писали, нет в списках. И это она. Чтобы узнать правду, Мире придётся прочитать письма одно за другим. Но каждое забирает кусок памяти — она всё меньше помнит, кто она. Память возвращается обрывками: озеро, мостки, счёт до четырёх, часы, отец, писавший ей по адресу, которого нет. Её память не подвела. Её вынули. Теперь Мире предстоит узнать, кто это сделал — и останется ли тот, кто вспомнит, зачем всё началось. «Память нельзя уничтожить. Только спрятать». Вторая книга серии «Носители».

© Волкова О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Часть первая	6
Глава 1. Опись	6
Глава 2. Почерк	11
Глава 3. Мастерская	17
Глава 4. Соль	22
Глава 5. Голос	27
Глава 6. Колонка	32
Глава 7. Дыхание	37
Глава 8. Бланк	42
Глава 9. Разночтение	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

Оксана Волкова

Чужие письма (05:17)

Пролог

Вину можно взвесить. Я знаю это по чужим делам, что прошли через мои руки: она весит ровно столько, сколько человек за собой помнит.

Я думала, тяжелее вины нет ничего.

Есть. Память, из которой вынули середину, — так, что вина осталась, а за что она, вспомнить нельзя.

В тот год я узнала это не из чужого дела. Из своего.

* * *

В коробке, которую мне принесли той зимой, поверх писем лежал конверт.

Плотная серая бумага, углы вытерты добела. На лицевой стороне — моё имя. Целиком, без ошибки. Моим именем. Написанное рукой, которой я не знала.

Я узнаю людей по почерку — это моя работа: по нажиму, по наклону, по тому, где рука дрогнула, сказать, кто писал и не солгал ли. За все годы не было руки, которую я не смогла бы установить.

Эта была первой. Я знала о ней всё, что можно знать о руке. Кроме одного: чья она.

* * *

На обороте стояла отметка — та, что ставят на недоставленное.

адресат не установлен.

Человека, которому это писали, по документам не было. А писали — мне.

Был там и оттиск, какого на письмах не бывает: кольцо, вдавленное так, будто сверху положили часы стеклом вниз. Без двадцати пять. Тот же оттиск я встречала и раньше — на чужих вещах из чужих закрытых дел, всегда на одном времени. Что оно значит, не знал никто, кого я спрашивала.

Ниже — число, оттиснутое машиной при приёме. Я переписала его в опись, не задумавшись.

05:17

* * *

Имя вывели начисто, с одного раза, без правок. Так пишут то, в чём не сомневаются, — а вручить не смогли, потому что меня не значилось.

Я сидела с письмом, адресованным мне и не дошедшим до меня, и впервые не могла установить самого простого.

Кто я такая, чтобы мне годами писать по адресу, которого нет.

Часть первая

Глава 1. Опись

Извещение лежало у меня на столе с самого утра.

Я об этом не знала и описывала чужую кухню.

Двадцать четыре предмета, из них девятнадцать — посуда. Хозяин умер в конце зимы, наследников не нашлось, квартиру передали городу, а всё, что в ней стояло, отошло ко мне. Не ко мне лично — в опись. Я работаю в архиве, и половина моей работы в том, чтобы у вещей, за которыми больше никто не придёт, остался список.

Батареи отключили ещё до меня, холодильник не гудел, и в квартире было тише, чем бывает в пустых квартирах. Пахло пылью и остывшим жиром. По запаху я давно научилась угадывать, сколько квартира простояла закрытой.

Я снимала посуду по одной и вписывала номер, наименование, состояние, количество. Чашка с отбитой ручкой — «повреждено». Кастрюля — «удовлетворительно». В графе «состояние» всего четыре допустимых слова, и ими закрывается любая кухня.

На подоконнике лежал список покупок. Клетчатая бумага, оторвана от блока сверху, семь строк. Шесть написаны ровно, одним нажимом. На седьмой рука надавила сильнее: буквы шире, чернила гуще, хвост последней уходит вниз, к самому краю листа.

Слово было «хлеб».

Я вписала список под номером двадцать четыре и не стала думать, что случилось у этого человека на слове «хлеб». В описи не думают. В описи ставят номер.

В дверях стояла женщина из соседней квартиры. Она стояла там минут десять и всё это время смотрела не на меня, а на плитку.

— Чайник мой, — сказала она. — Я давала попользоваться. Ещё осенью.

Эмалированный, синий, с белой крапиной. Номер девять по моему списку.

— Забирайте.

Она взяла его двумя руками и понесла к себе, прижав к животу.

Я вычеркнула девятый номер и переписала бланк начисто: в описи не зачёркивают, зачёркнутое потом можно прочитать по-разному. На чистовике осталось двадцать три предмета.

Потом я закрыла папку и вымыла руки в чужой раковине. Это не брезгливость, это порядок: чужое остаётся в чужой квартире.

* * *

Конверт был там же, где пролежал весь день: под степлером, чтобы не сдуло сквозняком из коридора. Казённый, длинный, с прозрачным окном.

Я прочитала его дважды. Сначала как бланк.

Форма отпечатана типографски, графы заполнены от руки, и заполняли их двое. Первые четыре строки — наклон вправо, узкие петли, ровный нажим: человек пишет много и быстро. С пятой наклон почти пропадает, петли шире, а нажим усиливается на первой букве каждого слова. Так пишут те, кто заполняет бумаги редко и боится ошибиться.

Кто-то начал и не закончил. Кто-то дописал.

Людей я не запоминаю. Могу проговорить с человеком полчаса и назавтра пройти мимо. Зато руку узнаю через десять лет по одной строчке: как ложится нажим, куда уходит хвост, где рука остановилась и подумала.

В графе «владелец» стояло имя, которое я не произносила вслух восемь лет.

В графе «получатель» — моё.

Человек, пропавший восемь лет назад, признан умершим. Имущество, оставленное им на моё имя, находится на хранении и может быть выдано под расписку.

Где он умер — в бланке не было. Когда — тоже. Признан, и всё; других сведений эта форма не предусматривает.

Потом я прочитала его как дочь. Это заняло меньше времени.

* * *

Восемь лет назад мне звонили по тому же поводу — тогда ещё о розыске. Женщина в трубке была вежливая и усталая и спросила, когда я видела его в последний раз.

Я ответила честно: не помню.

Она подождала и спросила иначе: примерно, в каком году. Я сказала, что не помню и примерно.

Пока она молчала, я попробовала ещё раз. У меня есть комната: подоконник, свет слева, гранёный стакан на подоконнике, и в стакане нет воды. Комнату можно обойти, в ней всё стоит на своих местах. Человека в ней нет — не отвернулся, не заслонён, а просто нет, как нет мебели, которую вынесли и не поставили другую.

Женщина записала: сведений не имеется.

Потом спросила, кем он мне приходится: в её бланке была такая графа, и заполнялась она со слов заявителя.

— Отцом, — сказала я.

Слово вышло твёрдым и неудобным, как чужая вещь в руке. До того дня я не произносила его вслух лет десять, а после — ещё восемь.

* * *

До отдела невостребованного четыре квартала. Днём подтаяло, к вечеру прихватило, тротуар стал стеклянным, и люди шли мелко, как ходят по льду. У поворота дворник сыпал соль из ведра, широко, от плеча, и соль стучала по наледи сухо и часто.

Мужчина за стойкой сверил документ с бланком, ушёл за стеллажи и вернулся с коробкой. Нёс он её на предплечьях, снизу, как носят то, что может рассыпаться. Лица его я не запомнила. Запомнила ручку: синий корпус, колпачок надет на хвостовик.

— Здесь открывать будете?

— Нет.

— Правильно, — сказал он и подвинул мне второй бланк. — А то до вас уже спрашивали.

— Кто?

Он открыл журнал выдачи, повёл пальцем по строке и закрыл его.

— Не записано.

Я расписалась дважды: как получатель и как сотрудник архива, принимающий имущество на временное хранение. Две подписи, один человек. В нашей работе это обычное дело.

Коробка была картонная, обтёртая по углам, перевязанная бечёвкой крест-накрест, и весила меньше, чем должна весить коробка, которую кто-то держал восемь лет.

В коридоре меня догнала Дина из читального зала, посмотрела на коробку и спросила, чья.

— Невостребованное.

Это было правдой во всех отношениях, кроме одного.

— Помочь описать? — сказала она. — У меня вечер пустой.

У Дины вечер пустой всегда, и говорит она об этом так, будто это сегодняшняя случайность.

— Там пять предметов.

— Тогда сама.

Коробки на хранении стоят у нас на стеллаже вдоль стены, в два ряда, торцами наружу, и на каждой крышке написано слово. Я прошла мимо этого ряда со своей коробкой в руках и не посмотрела на него.

* * *

По инструкции описывать это должна была не я.

Если у сотрудника есть отношение к имуществу — родство, знакомство, участие в деле, — он передаёт работу другому и ставит отметку о самоотводе. Я оформляла такую отметку четыре раза за шесть лет и ни разу не задумалась, зачем она нужна. Она нужна затем, что человек, у которого есть отношение, описывает не то, что видит.

Дина сидела через стену. У неё был свободный вечер и очень ровный почерк.

Я расстелила клеёнку, положила слева чистый бланк описи, справа карандаш и перерезала бечёвку канцелярским ножом, не развязывая узел. Узлы иногда важнее содержимого. Этот был обычный, в два оборота, затянутый человеком, который торопился.

Бечёвку я не выбросила. Разрезанная, она ни на что не годилась, и я всё равно убрала её в ящик.

В шапке бланка описи есть графа «основание»: туда вписывают документ, по которому имущество вообще попало к тебе на стол. Я вписала номер извещения. Графа заполнилась легко, как заполняется всё, что можно списать на бумагу.

Под номером один шёл диктофон. Кассетный, чёрный, с потёртостью на боку — такую даёт не время, а карман.

Два — карта. Сложена вчетверо, разошлась по сгибам почти насквозь. Береговая линия, три дороги, штриховка холмов, и ни одного названия: ни городов, ни рек, ни отметок высот. В нижней части стояла точка — не крест, не кружок, просто продавленная отметина.

Я поднесла лист к лампе и поняла, что смотрела не на то.

Линии были проведены от руки. На поворотах они дрожат, в двух местах перо вернулось и повторило изгиб, а в одном ушло за край, и его подтёрли. Дороги и холмы — тоже. Так получается, когда карту перечерчивают с другой — через стекло, на просвет, лист к листу.

Значит, названия не стирали. Их просто не стали переносить. Человек сидел, вёл пером по чужой карте и каждый раз, доходя до слова, обходил его. Так можно перечертить весь берег и не назвать ни одного места, где ты был.

Масштаба не было тоже: ни линейки, ни цифр, ни привязки, и расстояние от берега до точки я могла назвать только в сантиметрах. По такой карте нельзя дойти. По ней можно узнать место — если ты на нём уже был.

Три — письма. Семь конвертов, не вскрытых, склеенных давно: клей пожелтел, у двух отошёл угол. Бумага у всех одинаковая, дешёвая, с крупным волокном. А заклеены по-разному: на первых трёх клапан прижат ровно, на четвёртом смят и прижат наискось, на последних двух прижат так сильно, что бумага пошла складкой и в ней осталась.

Я положила лампу набок и посмотрела каждый конверт на просвет. В шести лежало по одному листу, сложенному вдвое. В седьмом — лист и что-то ещё: узкое, короче листа, с ровным краем и прямым углом. Не бумага. Плотнее.

Я подержала его на свету дольше, чем нужно, чтобы сосчитать вложения, и пронумеровала все семь карандашом в верхнем углу.

Четыре — кристалл. С ноготь, мутный по одному ребру, будто по грани провели сухой кистью.

Он лежал россыпью, между письмами и часами, ничем не обёрнутый. Такие вещи так не возят: для них есть контейнер — ложемент, крышка на защёлке, номер. И бумага. К таким предметам бумага полагается всегда.

Их и не хранят у нас. Их сдают в тот же день, по отдельной форме на шесть граф, и последняя графа называется «основание изъятия». Форму эту я заполняла дважды и оба раза до конца смены.

Я не стала брать его пальцами — подвинула краем бланка. В графу наименования вписала: предмет из стеклоподобного материала, происхождение не установлено. Потом завернула в кальку и положила обратно, между письмами.

Пять — часы. Механические, на кожаном ремешке; ремешок новый, пряжка старая, и дырка растянута не там, где положено, а на два деления дальше.

Стрелки стояли на без двадцати пять.

Я взялась за заводную головку. Головка не пошла. Пружина была заведена до конца.

Я смотрела на часы, которые не идут при полном заводе, дольше, чем на всё остальное в этой коробке. Механизм, который стоит, забывают. Тот, который заводят, — нет. Кто-то доводил эту пружину до упора не в прошлом году и не в позапрошлом, а недавно: завод не держится годами.

Значит, кто-то приходил к этим часам. Регулярно. Все восемь лет.

Я вписала часы в опись. Состояние — «удовлетворительно».

Больше в коробке ничего не было. Пять предметов. В описи это называется полным перечнем.

* * *

Я вернулась к извещению — сверить номер. Внизу, под чертой, мелким шрифтом шла приписка, на которую утром никто не смотрит, потому что там печатают порядок обжалования.

Коробка не вскрывалась после описи. Сохранность не гарантируется.

После описи.

Значит, опись уже была. Кто-то до меня вынимал эти пять предметов по одному, ставил номер, наименование, состояние, количество и заполнял нижнюю строку. Экземпляр всегда кладут внутрь: опись едет с имуществом, иначе имущество превращается в вещи.

В коробке её не было.

Я записала на полях: запросить.

Письма я не вскрыла. Сначала список, потом чтение. У прочитанного меняется состояние.

Седьмой конверт я подержала на весу ещё раз, прикидывая, где внутри проходит край того, что не бумага, и положила обратно — четвёртым слева, как он и лежал. Потом пошла вымыть руки.

В своём отделе. Из своего крана.

Оставался диктофон.

Кассету я вынула и посмотрела на просвет: плёнка намотана почти вся на левую катушку — отмотана к началу вручную, а не остановлена сама. На корешке наклейка под подпись, белая, с рамкой. Пустая.

Я поставила кассету обратно.

Кнопка ходила туго. Пошла не сразу, а потом провалилась разом, с сухим щелчком, и щелчок отдался в ладонь.

Сначала шёл шорох плёнки, потом второй щелчок — он записывал не с первого раза, сначала проверил. Стало слышно комнату: маленькую, с твёрдыми стенами, без ковров. Он придвинул диктофон ближе, и микрофон царапнул по столу.

Если это слушает моя дочь — значит, я проиграл.

Плёнка пошла вхолостую. В этой пустоте было слышно, как он дышит: коротко, через нос, с задержкой на выдохе — так дышат, когда ждут от себя, что передумают.

Если это слушаю я — выключи сейчас.

Голос был мужской, невысокий, очень ровный. Я слышала его впервые.

Кто говорит, я поняла по одному слову.

Я выключила.

Не потому что испугалась. Потому что не поняла, к кому из двоих отношусь я.

* * *

Он забыл меня добровольно. Но почему-то стыдиться этого пришлось мне.

Палец я с кнопки не сняла. Плёнка была отмотана к началу, и, чтобы услышать остальное, требовалось одно движение, которого я не сделала — ни через минуту, ни через десять.

Вместо этого я взяла рабочий блокнот и переписала обе фразы слово в слово. Между ними отметила паузу и приписала её длительность на глаз. Получилось три строки. Я перечитала их и подчеркнула вторую.

Со звуковых носителей полагается описывать и сам звук. Для этого есть отдельная строка, и заполняется она сухо, чтобы потом не спорить. Я заполнила её так, как заполняла бы для чужого дела.

Голос мужской, невысокий. Темп ровный, к концу фразы не повышается. Дефектов речи нет. Признаков опознания нет.

Последние три слова ставят, когда слушавший записи говорящего не знает.

Ниже я отметила: плёнка отмотана к началу, прослушано двадцать восемь секунд из неустановленного объёма, дальнейшее прослушивание отложено. Расписалась. Поставила номер описи.

Оставалась графа, ради которой я всё это и включила. Диктофон, номер один, состояние — из четырёх допустимых слов подходило одно.

Я написала: исправен.

Внизу бланка есть строка, которую я заполняю каждый рабочий день по несколько раз: наследники не установлены. Я оставила её пустой. Не вычеркнула и не заполнила — пропустила, как пропускают графу, к которой ещё вернутся.

Потом я сложила всё обратно: часы, кристалл, письма, карта, диктофон. Считала как всегда: раз, два, три, четыре — и снова раз.

На крышке каждой коробки я подписываю номер описи и категорию. Слов у нас три: «передано», «спорное», «невостребованное». Номер я написала. Категорию писать не стала.

Бланк самоотвода лежит в ящике, третьим сверху. Я достала его и заполнила первую строку: номер описи. Вторую — основание — оставила пустой, потому что основание там пишется одним словом, а слово это я уже сегодня произносила.

Дина уходит в половине седьмого. Я слышала через стену, как она задвинула стул и щёлкнула замком. Дверь у неё скрипит, и по коридору она идёт быстро, в две ноги, не так, как ходят по архиву. Я досчитала её шаги до поворота и не встала.

Бланк я убрала обратно. Не порвала — убрала. Он и сейчас там лежит, третьим сверху.

Свет в отделе гасят в семь. Я вышла раньше и коробку понесла с собой: оставлять её на полке рядом с чужими было нельзя.

* * *

До дома двадцать минут пешком. На середине пути я поймала себя на том, как несую коробку: не под мышкой и не на бедре, а перед собой, на вытянутых руках, ровно. Так носят чужое имущество из квартиры, куда больше никто не придёт.

Первый конверт я вскрыла утром.

Глава 2. Почерк

Коробка простояла на столе всю ночь.

Я не убрала её ни на подоконник, ни на пол, ни в шкаф. Поставила, где поставила, и легла. Ночью вставала за водой и обошла стол с другой стороны, хотя так дальше.

Утро было светлое. Я села к окну, потому что верхний свет врёт: он ровный, а бумаге нужен косой.

Клеёнку я расстелила на том самом столе, за которым ем. Слева положила лупу, справа линейку и пинцет, сверху — рабочий блокнот. Перчатки надевать не стала: хлопок глушит нажим, а нажим я читаю пальцем.

Инструмент у меня домашний, свой. У нас его выдают под роспись и сдают в конце смены, а я много лет назад купила себе такой же и держу дома, потому что бумага не разбирает, рабочий день или нет. Дина считает, что это болезнь. Возможно, но заключение с чужой лупой я не подпишу.

Семь конвертов лежали в коробке в том порядке, в каком я их вчера пронумеровала. Я взяла первый.

Вскрыла ножом вдоль клапана, не трогая клея. Внутри лежал один лист, сложенный втрое.

Я развернула его и прочитала первую строку.

Коробку выдали.

Дальше читать не стала. Перевернула лист лицом вниз и придавила линейкой, чтобы не свернулся.

Сначала список, потом чтение. Вчера это правило было удобством.

* * *

В верхнем правом углу конверта стояло число.

Ни марки, ни штемпеля, ни адреса — только число, написанное от руки, тем же почерком, что и первая строка.

Я сверилась с календарём в коридоре. Потом с блокнотом, где у меня отмечены выдачи на неделю вперёд. Потом ещё раз с календарём, уже понимая, что смотрю не туда и что календарь тут ни при чём.

Число было завтрашнее.

Я записала расхождение так, как записываю всегда: слева то, что стоит в документе, справа то, что есть на самом деле, между ними стрелка. Стрелка вышла кривой. Я переписала строку заново, и во второй раз она вышла ровно.

Потом я вынула остальные шесть конвертов и осмотрела углы.

Ни на одном ничего не было. Ни числа, ни знака, ни следа стёртого карандаша. Число стояло только на первом. На том, который я вскрыла.

* * *

Почерк проверяют по образцу. Образца у меня не было.

Я поняла это не сразу, а когда уже разложила инструмент и придвинула лампу. Сличать было не с чем.

Я всё-таки встала и посмотрела.

В нижнем ящике комода у меня лежит обувная коробка, и в ней всё, что осталось от детства: три школьные тетради, читательский формуляр, две открытки без текста, купленные и не отправленные, библиотечная карточка, где моё имя выведено рукой библиотекаря. Я перебрала это дважды, лист за листом, включая обороты.

Ни одной его строки. Ни подписи под дневником, ни надписи на обороте, ни пометки на полях книги, ни списка покупок.

У человека, прожившего рядом со мной десять лет, не осталось ни одного написанного слова. Так не бывает от небрежности. Так бывает, когда убирали.

Я вернулась к столу, села и посмотрела на лист, лежащий лицом вниз.

Потом взяла свой блокнот.

Люди учатся писать с чьей-то руки. Ребёнку ставят пальцы, ведут его кистью по первым палочкам, показывают, где надавить и где отпустить, — и то, как взрослый держит перо, лет сорок остаётся ответом на вопрос, кто его учил. У нас это дают на второй неделе: сходство почерков внутри семьи почти никогда не наследственное. Оно выученное.

Я перевернула лист.

* * *

Наклон вправо, двенадцать градусов, — у обоих.

Высота строчных одинаковая, разница в четверть миллиметра, в пределах усталости руки.

Интервал между словами шире нормы: и он, и я оставляем почти по две буквы, будто каждое слово надо отгородить от следующего.

Нажим падает к концу строки, и падает одинаково — не постепенно, а уступом, после третьего слова с конца.

«Р» с разрывом в петле: он не доводит, и я не довожу.

Точка над «ё» круглая, поставленная отдельным касанием, а не хвостом от предыдущей буквы.

Хвост «у» уходит влево и вверх. Это ошибка, так не учат.

Соединение «ст» через нижнюю петлю. Заглавная «Н» с провалом в перекладине. Абзацный отступ в два пальца, а не в один. Запятая, поставленная выше строки. Верхний край листа не заполняется: обоим нужно отступить, прежде чем начать.

Четырнадцать признаков.

Я считала их вслух, по четыре: раз, два, три, четыре — и снова раз. На последней четвёрке остановилась, потому что дальше считать было нечего.

Тогда я сделала то, что делают, когда результат слишком хорош.

Взяла два чистых листа, вырезала в каждом окно шириной в строку и наложила так, чтобы видны были одна строка из письма и одна из блокнота, без всего остального. Перемешала. Отвернулась. Придвинула обратно.

И не смогла сказать, какая из двух моя.

Я сидела и смотрела на две строки в двух окнах. Они были написаны не похоже. Они были написаны одной рукой.

Тогда я взяла свою ручку и переписала первую строку письма на чистый лист. Своим почерком, не стараясь, как пишут для себя.

Коробку выдали.

Положила рядом. Наклон, интервал, уступ нажима после третьего слова с конца, разрыв в петле «р».

Разница была одна: мои чернила остались чёрными по краю, а его ушли в бурый.

Больше ничем моя строка от его строки не отличалась.

* * *

Бумагу я оставила напоследок, как оставляют то, что не соврёт.

На просвет пошёл водяной знак: три полосы разной ширины и решётка между ними. Такой знак я видела раньше — не в магазине и не на почте, а в дальнем ряду наших стеллажей, на листах из старых поступлений, в папках с надписью «не использовать».

«Не использовать» пишут не потому, что бумага плохая. Пишут потому, что её больше нет. Восполнить нечем, и если испортишь лист, дело останется без листа навсегда.

Такую бумагу не продают двадцать лет.

Волокно длинное, с тряпичной примесью; край на разрыв даёт бахрому, а не пыль. Я померила толщину по стопке из десяти нынешних листов и по одному этому: он был тяжелее примерно на треть.

Купить такую бумагу он не мог.

Взять её можно только там, где она лежит.

* * *

Чернила были чёрные.

Не серо-чёрные, какими пишут сейчас, а те самые чёрные, которые с годами уходят в бурый по краю штриха. Я поднесла лупу и увидела кайму: вокруг каждой буквы бумага чуть темнее, и темнее не от нажима, а изнутри.

Потом я перевернула лист.

На обороте, точно под каждой строкой, проступал бурый след. Не отпечаток и не промокание. Такие чернила делают на железе, и железо годами ест бумагу под собственной буквой: сначала темнеет, потом становится ломкой, потом выпадает. Через полвека от такого письма остаются дырки в форме слов.

Их не выпускают двадцать лет. Запретили не по злому умыслу, а потому, что документ, написанный ими, уничтожает сам себя, а хранить полагается долго.

Я записала: чернила железистые, деструкция подложки первой стадии, срок с момента нанесения — не менее пятнадцати лет.

Пятнадцать — это минимум. Может быть двадцать. Может быть двадцать пять.

Число на конверте было завтрашнее.

* * *

Конверт я чуть не пропустила.

На клапане, у самой кромки, бумага была примята прямоугольником со скруглёнными углами. Я провела по нему подушечкой пальца поперёк, потом вдоль. Внутри прямоугольника прощупывался рельеф.

Штамп ставили без краски. Так делают, когда оттиск нужен не для чтения, а для учёта: сухая печать продавлиывает бумагу, и подделать её труднее, чем чернильную.

Я положила конверт на чёрную клеёнку, погасила верхний свет и посветила лампой сбоку, почти вдоль листа. Тени легли в углубления, и рельеф проступил.

Печать приёма на архивное хранение. Форма у них везде одна: круг, обод, поле в середине; меняются только буквы по ободу.

Буквы я прочитать не смогла. Волокно на этом месте примялось дважды — по краю шёл второй, слабый контур, сдвинутый на волосок. Так бывает, когда одну и ту же печать ставят на лист повторно, стараясь попасть в старый след.

В середине оттиска есть поле для номера дела. Номер обязателен: без него лист не примут, потому что лист без дела — это просто бумага.

Поле было пустое.

Письмо когда-то лежало в деле, у которого нет номера.

* * *

В восемь я вложила письмо и конверт в папку с завязками, папку убрала в сумку и пошла на работу. Заключение без проверки не пишут. Всё, что я установила за это утро, я установила по памяти, а память в заключение не вписывают.

Дальний ряд у нас за поворотом, где стеллажи стоят вплотную и между ними приходится идти боком. Папки с надписью «не использовать» занимают полторы полки, и берут их раз в год, когда приходит человек и сверяет наличие.

Я сняла третью слева, положила на подкатной стол и открыла.

Водяной знак совпал сразу: три полосы разной ширины и решётка между ними. Волокно то же. Тряпичная примесь та же. Я приложила лист из папки к письму на просвет — знаки легли один в один, полоса в полосу.

В каждой папке сверху лежит внутренняя опись: сколько листов, каких, в каком порядке. В этой стояло тридцать шесть.

Я пересчитала. Тридцать пять.

Пересчитала ещё раз, по четыре: раз, два, три, четыре — и снова раз. Тридцать пять.

Листы в делах нумеруют карандашом в правом верхнем углу. Я прошла нумерацию подряд и нашла разрыв: после тридцатого шёл тридцать второй.

Потом я достала письмо и посмотрела на его правый верхний угол под косым светом.

Утром я туда не смотрела — я смотрела на число, а число стояло на конверте.

В углу листа был стёртый карандашный номер. Стёрли хорошо, мягкой резинкой, вдоль, но графит въедается в волокно, и от цифры остаётся тень с той же стороны, с какой на неё давили. Тень читалась.

Тридцать один.

* * *

К внутренней описи подшивается лист сверки: кто проверял наличие и что установил. Их накапливается по одному в год, они лежат стопкой, самый свежий сверху.

Я прочитала верхний. Наличие сходилось. Тридцать шесть из тридцати шести, подпись, ничего не выявлено.

Прошлой осенью лист ещё лежал в папке.

Значит, его вынесли за последний год. Не восемь лет назад, не двадцать. За последний год — из здания, куда посторонние не входят вовсе, а свои проходят по спискам.

Версий было три.

Первая: письмо написано давно, лежало в деле, и кто-то достал его и положил в коробку, дописав число на конверте.

Вторая: письмо написано не им, а человеком, которого учил тот же учитель.

Третья: письмо написано недавно, и тот, кто его писал, сначала пришёл сюда за бумагой.

Все три требовали одного и того же: доступа в наш архив.

Я записала все три в блокнот, пронумеровала и подчеркнула третью, потому что она была самой простой, а простые версии проверяют первыми.

* * *

Я отнесла папку на место, задвинула её ровно и пошла к себе.

По дороге зашла в отдел не востребовавшего и спросила, можно ли поднять опись, составленную при приёме коробки. Номер извещения у меня был с собой.

Мужчина за стойкой — тот же, с синей ручкой, — открыл журнал, посмотрел, потом открыл второй, потом картотеку.

— По этому имуществу описи не значится.

— Она должна быть. В извещении есть отметка, что коробка не вскрывалась после описи.

— Значит, опись была, — согласился он.

Мы постояли и посмотрели друг на друга. Ему было неловко, а мне нечего было ему предъявить, кроме бумаги, в которой всё написано правильно.

— А журнал посещений за прошлый год у вас далеко? — спросила я.

— За прошлый — нигде. Три месяца держим, потом уничтожаем. Место.

Три месяца. Я это знала. Я сама раз в квартал подписываю акт об уничтожении, и подпись у меня там стоит четыре раза, и ни разу я не подумала, что уничтожаю.

В коридоре меня догнала Дина.

— Ты бледная.

— Бумага плохо спалась, — сказала я и услышала, как это прозвучало, но переставлять слова обратно было поздно.

* * *

Я взяла чистый лист и стала писать заключение.

Их пишут по форме: основание, объект, отношение исполнителя к объекту, методы, установленное, вывод. Я писала ровно, по пунктам, тем самым почерком, которым только что сличала.

Основание — поступление имущества по описи, номер такой-то.

Объект — рукописный документ на одном листе; конверт.

Третья графа называется «отношение исполнителя к объекту», и в неё вписывают одно слово. Я вписала: отсутствует.

Методы — визуальное сличение, увеличение, косой свет, просвет.

Установленное. Почерк документа совпадает с почерком исполнителя заключения по четырнадцати признакам; характер совпадения указывает на обучение письму от одного лица. Бумага архивная, снята с оборота не менее двадцати лет назад; водяной знак и структура волокна тождественны листам дела из фонда ограниченного пользования настоящего архива, в котором при сверке недостаёт одного листа с номером тридцать один. На объекте в правом верхнем углу — следы стёртой карандашной нумерации, читаемые как тридцать один. Чернила железистые, той же давности. Число, проставленное на конверте, наступает завтра. На клапане — оттиск сухой печати приёма на хранение без номера дела.

Я перечитала эту графу и подумала, что человек, который прочтёт её после меня, поймёт: лист вынесли отсюда. Из здания, в котором я работаю шесть лет и в котором меня знают на входе по имени.

Вывод я писала дольше всего, потому что вывод — единственное место в заключении, где нельзя поставить «предположительно».

Документ не мог быть изготовлен в указанное число. Материал старше указанного числа не менее чем на пятнадцать лет. Изготовление документа лицом, указанным в качестве отправителя, не подтверждается и не опровергается.

Внизу есть строка для подписи. Я подписала так, как подписываю каждый день: имя, должность, отдел.

Заключение на собственного отца, подписанное моим именем, лежало у меня на служебном столе рядом с чашкой.

Я перечитала его от начала до конца и не нашла ни одной ошибки. За шесть лет я разобрала сорок с чем-то подделок и ни разу не ошиблась в бумаге.

Заключение положено внести в журнал: номер, дата, объект, исполнитель. Журнал у меня в верхнем ящике, и он открывается сам, если потянуть за край.

Я не стала его открывать. Сложила лист вчетверо и убрала во внутренний карман сумки, где обычно лежит проездной.

Одну графу я заполнила неправдой. Это была единственная строка, в которой я была уверена.

Чужую ложь можно разоблачить. Собственную память — почти никогда.

* * *

Потом я прочитала письмо как дочь.

Это заняло меньше времени.

Коробку выдали. Значит, меня признали, и всё идёт как надо.

В ней пять предметов. Пересчитывай.

Не приезжай.

Вечером я поставила коробку на стол и выложила всё на клеёнку.

Диктофон. Карта. Письма. Кристалл. Часы.

Пять.

Я сложила обратно и выложила снова, в другом порядке, чтобы не считать по памяти.

Пять.

Указание было бессмысленным. Предметы не размножаются и не убывают, а если убывают, то по акту. Я пересчитала в третий раз, уже понимая, что делаю это не потому, что сомневаюсь, а потому, что он попросил, и что впервые за восемь лет я делаю то, о чём он попросил.

Пять.

* * *

Я перечитала последние два слова ещё раз, уже как архивист.

«Не приезжай» пишут тому, кто знает адрес.

Я достала из коробки карту и положила её рядом с письмом, на свет. Водяной знак был один и тот же: три полосы разной ширины и решётка между ними.

Глава 3. Мастерская

Часы я понесла не в ближнюю мастерскую, а в дальнюю.

Ближняя — сетевая, со стеклянной витриной и ценником на батарейку. Там мне поменили бы элемент, не открывая крышки, и я ушла бы с идущими часами и без единого ответа. Мне не нужно было, чтобы они шли. Мне нужно было знать, чьи они и почему стоят при полном заводе.

Про дальнюю мне сказала женщина из архивного переплёта: если механизм старый и дорог не деньгами, несут к Ноэлю. Он один в городе берёт то, что другие не берут, и один не берёт того, что берут другие.

Я шла к нему через полгорода пешком, хотя ходит трамвай. С коробкой я больше не выходила — часы несла отдельно, в кармане пальто, и всю дорогу держала на них руку, как держат мелочь, чтобы не звенела. Часы не звенели. Они лежали тяжёлые и холодные и не шли, и от того, что не шли, казались тяжелее, чем идущие.

Я поймала себя на этом сравнении у перекрёстка и не стала его продолжать.

Мастерская была в полуподвале, восемь ступеней вниз, край каждой выщерблен посередине — там, где ставят ногу. Над дверью висела вывеска, выцветшая до того, что читалась только под фонарём. Ниже кто-то дописал от руки, позже и другой рукой: «Новые часы не чиню. Не просите».

Дверь открылась от прикосновения, без звонка.

* * *

Внутри было тесно и пахло металлом, маслом и чем-то сухим и сладким сразу, как пахнет там, где годами работают с мелкими деталями.

И везде шли часы.

Настенные, настольные, карманные на крючках, будильники без корпусов, механизмы без стрелок под стеклянными колпаками. Они тикали не в лад: каждый в своём такте, и вместе это давало не шум, а плотный ровный гул, в котором отдельного тиканья уже было не различить. Я постояла минуту, привыкая. Гул делал странную вещь: чем дольше стоишь, тем меньше слышишь отдельные часы и тем сильнее чувствуешь общий ход, будто вся комната — один большой механизм, а стены — его корпус.

На стеклянной двери изнутри белела ещё одна бумажка, написанная той же рукой, что и приписка снаружи: «Батарейки не меняю. Спросите в любом ларьке».

Ноэль сидел за верстаком в глубине, в круге света от лампы на струбине. Сам он был в тени, свет падал только на руки и на то, что в руках. Пальцы держали пинцет так, что пинцет казался частью пальцев.

Он не поднял головы.

— Часы, — сказала я. — Стоят.

Пока он не отвечал, я смотрела на его руки, потому что лица не было видно, а руки говорят раньше лица. Так меня учили, и восемь лет я думала, что умею. Кисти у Ноэля были тяжёлые, в мелких белых рубцах от инструмента, ногти сточены наискось. Руки человека, который всю жизнь держит чужое и ни разу не выронил. Спокойные руки, без второго дна.

Я прочитала: ему нечего скрывать, — и записала это себе как установленный факт, потому что руки для меня — такой же документ, как бумага, а документ я привыкла считать не врущим.

Он отложил пинцет. Посмотрел сперва на мои руки, потом на часы в них, и только потом взял — снизу, на раскрытую ладонь, как берут то, что может быть живым.

Потом поднёс к уху.

Он не смотрел на них и не открывал. Он их слушал. Губы у него двигались беззвучно, будто он вёл счёт, и досчитал до чего-то своего, и опустил руку.

— Не сломаны, — сказал он.

— Вы даже не открыли.

— Часам не надо в лицо смотреть, — сказал он. — Их слышно. Здоровый ход — это ровно. Больной — с запинкой, всегда в одном месте, как хромота. Ваши не хромают. Ваши молчат. Молчат — это отдельное.

— Они стоят.

— Это не одно и то же.

Он повернул часы к лампе и щёлкнул задней крышкой.

— Ход чистый. Пружина полная. Камни целы. — Он поднял на меня глаза в первый раз. — Их остановили. Руками. Подвели стрелки и придержали баланс, пока он не встал. Так делают, когда хотят запомнить минуту.

— Как это — придержали?

Он развернул лампу, поманил меня ближе и наклонил механизм так, чтобы я видела.

— Вот баланс. Колесо, которое качается туда-сюда, — от него весь ход. Оно не любит стоять; чтобы оно встало ровно на нужной минуте, его надо поймать пальцем в мёртвой точке и держать, пока пружина не примет, что это теперь покой. Секунды три-четыре. Отпустишь раньше — качнётся дальше, минута уйдёт. — Он выпрямился. — Тут отпустили вовремя. Рука твёрдая. Не первый раз человек это делал.

Я смотрела на крохотное колесо, застывшее в мёртвой точке, и думала о руке, которая держала его эти три-четыре секунды, не дрогнув.

— Часто к вам приносят такое? — спросила я. — Остановить минуту.

— Реже, чем хоронят. Чаше, чем думают. — Он вернул лампу на место. — Обычно это те, у кого забрали кого-то. Остановленные часы — это способ сказать: дальше не пойду. Только время их не слушает, и они через год приходят просить, чтобы я снова пустил. А эти — нет. Эти восемь лет никто не просил пустить.

— Какую минуту?

Он снова повернул циферблат ко мне, чтобы я увидела сама.

Без двадцати пять.

* * *

— Починить можете? — спросила я.

— Тут нечего чинить. Толкнуть баланс, и пойдут. — Он не толкнул. Положил часы на бархотку, стрелками вверх. — Но вы просили не это.

— Я просила починить.

— Вы принесли часы, которые сами завели вчера, и спрашиваете, чьи они. Чинить вы их не просили.

Он был прав, и я не стала спорить.

Ноэль встал. Он оказался выше, чем виделся сидя, и двигался медленно, будто и себя привык беречь, как механизм. Подошёл к стеллажу у стены и повёл ладонью вдоль полки, не касаясь.

— Вон те, — сказал он. — Посмотрите.

На верхней полке, отдельно от чинимых, стояли двенадцать часов. Разные: круглые и квадратные, большие вокзальные и маленькие дамские, одни в дереве, одни в потемневшем серебре.

Все двенадцать шли.

И все показывали разное. На первых — начало десятого. На следующих — половина второго. Дальше — без чего-то семь, четверть, снова другое. Двенадцать циферблатов, двенадцать разных времён в одной комнате, где на стене висят часы, идущие верно.

Я обошла их глазами слева направо, как читают строку.

На первых — начало десятого. На вторых — половина второго. Третьи, четвёртые, пятые — без чего-то семь, четверть шестого, снова другое. Я ловила себя на том, что складываю разницу, ищу закономерность, шаг: если бы все они отставали на равные промежутки, это была бы поломка одного рода, объяснимая. Закономерности не было. Каждые шли сами по себе и показывали своё.

Так бывает не в мастерской. Так бывает в комнате, где сошлись двенадцать разных людей, и у каждого своё время, и никто не сверяется с соседом.

Седьмые.

На седьмых стрелки стояли не так, как у остальных. Секундная не шла — стояла, прижавшись к минутной, будто её придержали. Часовая — на пяти. Минутная — на трёх делениях после.

05:17

Я стояла и смотрела на эти цифры. Они ничего мне не говорили и почему-то не отпускали. Не мой час прихода, не время закрытия архива, не срок, к которому я где-то опаздывала. Просто число на чужом циферблате.

Я перевела взгляд на стену. Там висели часы, по которым Ноэль, видимо, сверял всю мастерскую, — большие, простые, с секундной, идущей ровно. Они показывали то, что и должны были: вечер, начало восьмого.

Я снова посмотрела на седьмые. **05:17.** Разница между стенными и седьмыми не складывалась ни во что круглое.

— Эти двенадцать не на продажу? — спросила я.

— Эти не мои, — сказал Ноэль. — Их приносят. Я держу.

— Кто приносит?

— Разные. — Он не обернулся. — Приходит человек, ставит часы на стол и говорит: остановите на такой-то минуте и держите. Я останавливаю. Плату беру вперёд, потому что второй раз такой человек чаще всего не приходит.

— Зачем это нужно?

— Затем же, зачем всё здесь. — Он повёл рукой, не глядя, в сторону гудящих стен. — Люди боятся, что забудут. Часы не забывают. Пока стрелки стоят на минуте, минута считается сохранённой. Ерунда, конечно. Но им легче, а мне нетрудно.

— И вы их заводите. Все.

— Все. По одному дню недели на каждые. — Он помолчал. — Кроме седьмых. Седьмые заводил не я.

— А кто?

— Тот, кто их принёс. Раз в неделю. Своей рукой.

* * *

Он вернулся к верстаку и сел, и я поняла, что разговор для него закончился. Но я приехала за именем.

— Вы сказали, мои часы кто-то остановил руками. Вы видели этого человека?

Ноэль взял с бархотки мои часы и держал их, не отдавая.

— Восемь лет назад ко мне пришёл мужчина, — сказал он. — Принёс эти. Сказал — его, сбились. Я открыл крышку и увидел на внутренней стороне гравировку. Чужое имя. Не его.

— Какое?

Он не ответил на это.

— Он увидел, что я прочитал, — продолжал Ноэль. — И не забрал часы назад. Оставил их мне. Сказал: пусть стоят у вас, только заводите. И приходил заводить. Сам. Каждую среду.

— А имя вы помните?

— Я его вижу каждый раз, когда открываю крышку. — Он щёлкнул задней створкой моих часов и повернул их ко мне внутренней стороной. — Смотрите. Только вам это ничего не даст.

На внутренней стороне крышки была гравировка — мелкая, стёртая по верху пальцами того, кто восемь лет открывал и закрывал. Три-четыре буквы. Начало читалось, конец ушёл.

Я узнала первую букву. Дальше не читалось совсем, а первую я узнала — и лучше бы не узнавала, потому что это была не его буква и не моя.

— Видите? — сказал Ноэль. — Я же говорил. Ничего.

Он закрыл крышку раньше, чем я успела запомнить остальное.

— Восемь лет он приходил?

— Пока приходил. — Ноэль положил часы мне на ладонь. — Последнюю среду он не пришёл. А часы, — он кивнул на полку, на седьмые, — встали в ту же неделю.

Я не сразу связала одно с другим. Потом связала, и лучше бы не связывала.

— Вы хотите сказать, что седьмые — тоже его?

— Я ничего не хочу сказать. Я чиню часы. — Он снова взялся за пинцет. — Люди приносят мне минуту, которую боятся забыть, и просят её держать. Я держу. Некоторые обещания человек выполняет только потому, что больше некому проверить.

Я стояла и держала свои часы, и в голове у меня складывалось то, чего складывать не хотелось.

Он приходил по средам. Восемь лет. К часам, на которых чужое имя и минута без двадцати пять. И в ту же неделю, когда он не пришёл, встали седьмые — на **05:17**.

Две остановленные минуты. Одна на его часах, другая на чужих. Он держал обе. Одну — стрелками, которые придержал сам. Другую — тем, что приходил.

— Он вам говорил что-нибудь? — спросила я. — Когда приходил.

— Здравовался. Заводил. Уходил. — Ноэль подкрутил винт под лупой. — Один раз сказал. В последнюю осень. Поставил часы, посмотрел на седьмые и сказал: если перестану приходить — не заводите их за меня. Пусть встанут.

— Почему?

— Я спросил. — Ноэль поднял лупу и посмотрел на меня через неё, и глаз его стал огромным и спокойным. — Он сказал: потому что, пока они идут, кто-то думает, что ещё успевает.

* * *

Он не взял с меня денег.

Я протянула купюру, он не поднял руки.

— За эти уже заплачено, — сказал он. — Вперёд.

— Кем?

— Тем, кто приходил по средам. Он платил не за ремонт. За то, чтобы, когда за ними придут, с пришедшего не брали.

— Он знал, что за ними придут?

— Он оставил вперёд на много лет, — сказал Ноэль. — Обычно так не платят. Так платят, когда не рассчитывают вернуться сами.

Я держала часы обеими руками. Стрелки стояли на без двадцати пять. Заводить их я не стала — при полном заводе завести нельзя, а толкнуть баланс, чтобы пошли, значило сбить минуту, которую кто-то восемь лет держал руками.

Я вышла, как вошла: восемь ступеней вверх, дверь без звонка.

* * *

Наверху был вечер, обычная улица, фонарь, машины. Гул часов остался за дверью, и от его отсутствия в ушах некоторое время стояла ватная тишина.

Я дошла до угла и остановилась под фонарём. Достала блокнот, где у меня расписаны выдачи на неделю, и посмотрела на сетку дней.

Извещение о признании умершим оформили в среду. Коробку я получила в среду. Сегодня тоже была среда — я поняла это только сейчас, под фонарём, потому что дни недели в архиве не в ходу, у нас всё считается по номерам дел.

Три среды подряд. Он приходил по средам восемь лет и перестал. А теперь по средам к его часам ходила я и не знала, что хожу.

Я не оборачивалась и всё равно знала, что Ноэль сейчас встал, подошёл к полке и посмотрел на седьмые. Не потому, что ждёт, что они пойдут. А потому, что так делают, когда одни часы в комнате остановились, а спросить об этом не у кого.

* * *

Дома я положила часы обратно в коробку, стрелками вверх, между картой и кристаллом. Заводить не стала. Толкать баланс не стала. Минуту, которую кто-то восемь лет держал руками, я трогать не имела права — не по инструкции, инструкции на это нет, а потому, что теперь эта минута была уликой, а улику не поправляют.

Блокнот я открыла на чистой странице и с краю, отдельной строкой, записала два числа.

Первое — с седьмого циферблата. **05:17.**

Второе — гравировку. Точнее, ту единственную букву, что успела прочесть, прежде чем Ноэль закрыл крышку.

Число и буква. Пока это было всё, что кто-то оставил мне вместо ответа — и оба принадлежали не мне.

Я попробовала свести это в дело, как свожу на работе. Взяла лист, начертила две колонки: «установлено» и «требуется проверки». В левую вписывать было почти нечего. Часы остановлены рукой на без двадцати пять. Человек носил их восемь лет по средам. Перестал носить в ту неделю, когда его признали. На часах чужое имя, первая буква такая-то.

В правую я писала дольше. Чьё имя внутри. Что за минута без двадцати пять. Почему седьмые встали в ту же неделю. Кто платил вперёд и на сколько лет. И — я приписала это последним, мельче остального, — почему все три среды сошлись на мне.

Левая колонка была короче правой втрое. В хорошем деле бывает наоборот.

Я убрала лист в папку, к заключению по письму, которое так и не внесла в журнал. Две бумаги, обе правильные, обе никуда не поданные. Я складывала своё первое собственное дело и впервые за шесть лет не знала, кому его сдавать.

Глава 4. Соль

Я услышала её раньше, чем увидела.

За дверью кто-то стоял и дышал — ровно, негромко, но так близко к створке, что дыхание отдавалось в щели у порога. Не звонили, не стучали. Просто стояли и ждали, когда замечу.

Я стою у своей двери каждый вечер и знаю все звуки лестницы: лифт с недотянутой дверцей, соседский замок в два оборота, трубы, которые в семь начинают стучать. Этого звука в списке не было, и это первое, что меня насторожило, — не сам факт человека за дверью, а то, что я не смогла его опознать.

Я не спросила «кто там». Просто открыла — так открывают, когда за два дня привыкли, что всё, что приходит, приходит к делу.

На площадке стояла женщина за пятьдесят. Пальто застёгнуто на одну пуговицу, остальные срезаны или потеряны. Через плечо — сумка, старая, кожаная, разбухшая и потерявшая форму, из тех, что держат не за ручку, а обнимают.

И от неё пахло. Не улицей, не духами. Мокрой бумагой — тем самым запахом подвала после того, как вода ушла, а бумага осталась: сладковатым, глухим, чуть плесневым. Запах, который я знаю по нашим худшим поступлениям, когда прорывает трубу над хранилищем и дело потом сушат феном лист за листом.

— Мира, — сказала она. Не спросила.

— Да.

— Соль. Я из Дома писем.

* * *

Она не переступила порог и руки не подала. Стояла и смотрела на меня — не в глаза, а куда-то в скулу, в линию волос, будто сверяла с образцом, которого я не видела.

Взгляд её шёл по мне сверху вниз и обратно, коротко задерживаясь: лоб, переносица, подбородок, снова лоб. Так смотрят не на человека, а на портрет, когда ищут, чей он. Я знаю этот взгляд с другой стороны — сама так сличаю два почерка, ища общую руку. Только я свожу буквы, а она сводила лицо, и я не понимала, с чем.

Мне стало неудобно, и я сделала то, что делаю, когда не понимаю: начала сличать в ответ. Но лицо женщины мне не говорило ничего. Возраст, усталость, мокрая бумага. Ни одной черты, за которую можно зацепиться и сказать: вот отсюда я её знаю.

— Откуда вы знаете адрес? — спросила я.

— С конверта.

Я посмотрела на конверт, который она держала. На нём стояло моё имя — то самое, что и на семи в коробке. Имя там было. Адреса не было. Ни улицы, ни дома, ни города — только имя, как на всех остальных.

— На конверте нет адреса, — сказала я.

— Нет, — согласилась Соль спокойно, будто ждала этого вопроса. — Адрес был на другом. Мне сказали, кому нести и куда. В Доме писем не спрашивают, откуда известно. В Доме писем известно.

Это был не ответ, и мы обе это понимали. Но давить на неё было всё равно что давить на бумагу пальцем: продавишь — порвётся, а больше ничего.

Она опустила руку в сумку, и, пока рука была внутри, я успела заглянуть.

Письма стояли в сумке вертикально, плотно, корешок к корешку, как карточки в каталоге. И разложены были не по алфавиту — я привыкла к алфавиту и узнала бы его сразу. Они шли по годам: на картонных разделителях от руки проставлены числа, и числа убывали вглубь. Ближние разделители — недавние, картон ещё белый. Дальше картон желтел, а у самого дна разделители стёрлись до того, что числа угадывались только по вдавленности от карандаша.

Самый дальний был двадцатилетний.

Двадцать лет недоставленных писем, поставленных по возрасту, как ставят вино в погребе или дела в архиве. Каждый год — свой отдел, и в каждом отделе по несколько конвертов, а в дальних — по одному, по два, будто с годами писать переставали.

Я поняла, что смотрю на чужой архив, устроенный по тому же принципу, что мой, только этот никто не сдавал и не принимал, и опись к нему одна — в голове у женщины, которая его носит.

Позже я сообразила, что письма стоят корешками наружу, именами внутрь. Так ставят, когда не хотят читать имена каждый раз, как открываешь сумку. Так прячут от себя то, что несёшь.

Она достала конверт из ближнего отдела — не роясь, сразу, как достают то, что положили сверху нарочно.

Она достала конверт из ближнего отдела — не роясь, сразу, как достают то, что положили сверху нарочно, — и протянула мне.

Белый. Без марки, без адреса. Моё имя на лицевой стороне — тот же почерк, что на семи в коробке. Тот же, что у меня в блокноте.

— Его принесли в Дом позавчера, — сказала Соль. — Без отправителя. Такие мы не храним. Такие доставляют.

Конверт был тёплый. Она несла его в руке всю дорогу, не в сумке.

* * *

— В коробке было семь, — сказала я. — Это восьмое.

— Значит, вы считали.

Я не ответила. Я держала восьмой конверт и не могла заставить себя его вскрыть, и дело было не в страхе.

Семь писем лежали в коробке. Я их пронумеровала, вписала в опись, знала на ощупь каждое: где отошёл угол, где клапан прижат наискось. Семь — это было замкнутое число, полный перечень, я сама его закрыла подписью. А теперь у меня в руке лежало восьмое, того же почерка, той же бумаги, и оно означало, что мой полный перечень был неполным. Что там, откуда пришли эти письма, их больше, чем семь, и кто-то знает, сколько, а я нет.

— Откуда вы знаете, что оно из этой же пачки? — спросила я. — Вы не видели остальных семи.

— Я не знаю, — сказала Соль. — Я вижу почерк. Он один и тот же двадцать лет. Я узнаю его раньше, чем читаю имя.

— Двадцать лет, — повторила я.

— Двадцать. — Она не отвела глаз. — Первое я не отдала двадцать лет назад. Это, — она кивнула на конверт, — пришло позавчера. Между ними — целая сумка.

Я посмотрела на сумку, на убывающие вглубь года, и поняла, что она мне только что сказала. Все эти письма — одной рукой. Той же, что писала мне. Той, что учила писать меня.

Дома у меня лупа, лампа, линейка. Но всё это показало бы мне то же, что вчера: архивный лист, железистые чернила, старше своей даты. Инструмент отвечал на вопрос «когда написано». А я стояла с вопросом «кем» — и на него у меня инструмента не было. Только руки. И руки говорили одно: конверт настоящий, тёплый, лёгкий, внутри один сложенный лист.

— Вы его не вскрывали? — спросила я.

— Мы не вскрываем. Мы доставляем закрытым. — Соль качнула головой. — Иначе это уже не доставка, а чтение чужого.

Я перевернула конверт. Ни штампа, ни сухого оттиска — в отличие от первого. Только по клапану шла двойная линия клея: заклеивали дважды. Один раз давно, другой — недавно.

Я знаю, как выглядит конверт, вскрытый на пару и заклеенный обратно: клей ложится вторым слоем, чуть шире первого, и по краю остаётся глянец. Здесь было именно так. Кто-то

держал письмо над носиком чайника, поддел клапан, прочитал, что внутри, и вернул на место — аккуратно, но не настолько, чтобы обмануть того, кто это ищет.

Кто-то вскрывал его и заклеил снова. И это была не Соль — Соль не вскрывает.

* * *

— Что за Дом писем? — спросила я. — Я работаю с бумагами восемь лет и ни разу о нём не слышала.

— И не должны были. — Соль повела плечом, поправляя ремень. — Мы не значимся. Ни вывески, ни бланка, ни печати. Люди приносят то, что не смогли отправить или не решились, и то, что вернулось ненайденным. Мы держим. Иногда доставляем. Денег не берём.

— На что живёте?

— На то, что приносят вместе с письмами. — Она посмотрела спокойно. — Вы ведь тоже держите чужое и не спрашиваете, на что живёт архив.

Это было верно, и мне не понравилось, что верно.

Я привыкла проверять тех, кто приносит документ. У нас для этого есть порядок: кто сдал, по какому основанию, есть ли право. Женщина на пороге не назвала ни фамилии, ни учреждения, которое можно запросить, ни бумаги, по которой действует. По всем правилам конверт брать не следовало.

Я взяла.

И стала искать, за что зацепиться, чтобы проверить хотя бы её саму. Обувь сухая — приехала не пешком издалека. Руки без чернил, ногти острижены коротко, на среднем пальце правой старая твёрдая мозоль от ручки. Человек, который много пишет от руки. Или много надписывает.

Я поймала себя на том, что опять читаю не бумагу, а человека, и опять не могу поручиться за прочитанное. Мозоль от ручки — и что с того? Я знаю про эту женщину ровно то, что она сама сказала, и ни строчкой больше. А привыкла узнавать про людей всё по одному нажиму.

* * *

— Можно при вас? — спросила я и, не дожидаясь ответа, взяла нож.

Мне нужно было вскрыть его при ней. Не ради приличия — ради проверки. Если по её лицу что-то дрогнет на строке, значит, она знает содержание. Она сказала, что не вскрывает. Я хотела увидеть, правда ли это, — и снова полезла читать человека, хотя человека читать не умею.

Я вскрыла конверт вдоль клапана. Внутри был один лист и одна строка, тем же почерком:
Ты ищешь меня, а я всё это время рядом.

Я подняла глаза на Соль.

Лицо её не изменилось. Ни на строке, ни на слове «рядом». Она смотрела не на письмо — на меня, и смотрела с тем же усталым вниманием, что и на пороге.

Значит, не знала. Или знала так давно, что удивляться было нечем. Я не могла определить, что из двух. Бумагу я прочла за секунду, а женщину напротив — нет.

Я опустила глаза обратно на строку.

Ты ищешь меня, а я всё это время рядом.

Слово «ищешь» стояло первым, и оно было неправдой. Я не искала. Я описывала. Восемь лет он был для меня графой «наследники не установлены», и я эту графу даже не заполняла, потому что нечем. Искать — значит хотеть найти, а я не хотела; я разбирала коробку, потому что её выдали мне на стол.

И всё-таки за два дня я сходила в отдел не востребовавшего, подняла старую папку в архиве, отнесла часы к Ноэлю и завела на всё это дело. Так не разбирают наследство. Так ищут.

Он назвал это правильно раньше, чем я сама себе призналась.

* * *

— Зачем вы приехали сами? — спросила я. — Могли отправить почтой.

Соль молчала так долго, что я подумала — не ответит.

— В моей сумке есть письма, которые я вожу двадцать лет, — сказала она наконец. — Из дома в дом. Я знаю их вес наизусть. Знаю, у какого отсырел угол, у какого расплылась одна буква. Я не отдала их ни разу.

— Почему?

— Потому что думала: пусть лучше не дойдёт, чем дойдёт и сделает хуже. — Она смотрела мимо меня, в прихожую, на стол в глубине, где лежала коробка. — Двадцать лет я решала за тех, кому письма адресованы, дойдёт до них правда или нет. Это большая власть для почтальона.

Она перевела взгляд на конверт в моей руке.

— Это я решила отдать. Пока ещё есть кому.

* * *

Она сделала шаг назад, к лестнице, и придержала сумку локтем, чтобы не качнулась.

— Дом писем стоит на набережной, за старой солеварней, где мостки, — сказала она. — Захотите вернуть письмо или спросить про него — приходите. Спрашивать буду не я. Спрашивать будет то, что в сумке.

— Вы так и не сказали, зачем приехали.

Соль остановилась на верхней ступеньке и обернулась. Свет с площадки падал сбоку, и я увидела, что сумка с одного боку темнее — там, где она годами прижимает её к себе. Бумага внутри отсырела от неё самой.

— Чтобы посмотреть, похожи ли вы, — сказала она. И, помолчав, добавила, уже вполголоса, будто не мне, а сумке: — Не всё, что мы потеряли, должно быть найдено. Но всё должно быть оплакано.

Она пошла вниз. Шаги затихли не сразу — этажом ниже она постояла, будто переводя дух или перекладывая сумку, — и только потом дальше.

Я подошла к окну.

Из моего окна виден выход из подъезда и двор до арки. Я хотела увидеть, в какую сторону она пойдёт: набережная, про которую она сказала, — это направо и вниз, к воде.

Соль вышла из подъезда, остановилась под фонарём, поправила сумку. И пошла налево, вверх, от воды. Не туда, где стоит её Дом писем.

Я стояла у окна, пока она не скрылась за аркой, и думала, что человек может идти домой не по прямой. Может зайти в магазин, к знакомым, куда угодно. Это ничего не значит.

Но я записываю расхождения не потому, что каждое что-то значит. Я записываю, потому что значимое от незначимого отличается только потом, задним числом, а к тому времени незаписанное уже не вспомнить. Я вернулась к столу и внесла в блокнот: сказала — на набережную, пошла в обратную сторону.

* * *

Запах мокрой бумаги держался в прихожей долго, до ночи.

Я отнесла восьмое письмо на стол и открыла свою домашнюю опись — ту, что вела для себя. Вписала восьмым номером: конверт, бумага та же, доставлен из рук в руки, ранее вскрылся и заклеен повторно.

Потом отложила ручку и пересчитала конверты, как считаю всё: раз, два, три, четыре — и снова раз, четыре. Восемь.

Коробка выдала пять предметов. Писем в коробке было семь. Теперь их восемь.

В первом письме стояло: пересчитывай. Я думала — про предметы, и предметов по-прежнему пять. А писем стало на одно больше, чем лежало в коробке. Это первое, что за два дня прибавилось, а не ubyло.

Кто-то дописывал моё дело, пока я его вела. И строка, которую он дописал последней, спокойнее всего стояла на слове «рядом».

Я погасила свет и легла, и последнее, что стояло перед глазами, была не строка и не почерк, а сумка. Двадцать лет писем, поставленных по возрасту, корешками наружу, именами внутрь. В ближнем отделе лежало моё — Соль достала его сразу, сверху. А где-то в глубине, у стёршихся разделителей, стояли те, что она возит двадцать лет и не отдаёт.

Я не спросила, есть ли среди них письмо тем же почерком. А надо было спросить.

Утром я решила, что схожу на набережную. За старой солеварней, где мостки. Не для того, чтобы вернуть письмо. Для того, чтобы посмотреть, что в сумке лежит на моё имя дальше первого.

Глава 5. Голос

Диктофон я не трогала три дня.

Он лежал в коробке, между картой и письмами, и каждый вечер я проходила мимо коробки и не открывала её. Первые двадцать восемь секунд я знала наизусть — записала их в блокнот в первый вечер, слово в слово, и подчеркнула вторую строку. Дальше плёнки я не слышала, и это «дальше» стояло в деле пустой графой, а пустых граф я не оставляю.

Три дня я находила причины. В пятницу причины кончились.

Я подготовилась, как готовлюсь к работе с хрупким носителем. Кассетную ленту нельзя гонять туда-сюда без счёта: каждый прогон стирает верх записи, и то, что сегодня слышно, завтра может пропасть. Значит — минимум проходов. Значит — сначала весь план в голове, потом одно движение.

Я взяла второй, пустой диктофон — рабочий, свой — и проверила, пишет ли он с динамика. Если запись начнёт осыпаться от прослушивания, у меня останется копия, пусть худшая. Копия хуже оригинала, но копия, которая есть, лучше оригинала, которого не станет.

Поставила оба аппарата рядом. Открыла блокнот. Села.

Сначала — как архивист. Так я решила заранее. Не как дочь.

* * *

Я перемотала к началу и пустила плёнку с первой секунды.

Шорох. Щелчок проверки. Комната с твёрдыми стенами. И голос.

Комната была слышна раньше голоса и лучше голоса. Маленькая, без ковра, без штор — звук в ней отскакивал от стен и возвращался тут же, коротким твёрдым эхом. Стол под аппаратом деревянный: когда он придвинул диктофон, микрофон проехал по столешнице с сухим скрипом. Где-то далеко, за стенами, раз капнула вода — и всё. Ни улицы, ни голосов, ни машин. Комната стояла глубоко, ниже улицы. Подвал или дальняя комната без окон.

Я закрыла глаза и слушала не слова, а место. Так меня научила бумага: сначала носитель, потом текст. У записи носитель — это комната, в которой её сделали, и комната говорила, что человек прятался.

И голос.

Тот же, что и в первый раз. Мужской, невысокий, ровный. Я по-прежнему не узнавала его — но теперь слушала не человека, а запись, а запись я умею слушать.

Он говорил, как диктуют в протокол: короткими законченными фразами, без «э-э», без возвратов, оставляя между предложениями ровные промежутки — столько, сколько нужно тому, кто потом будет расшифровывать. Так говорит человек, привыкший, что его записывают.

Если это слушает моя дочь — значит, я проиграл.

Если это слушаю я — выключи сейчас.

Дальше я в прошлый раз не пошла. Теперь пошла.

Опись веди сама. Никому не отдавай.

В коробке пять предметов и семь писем. Писем будет больше. Считай каждое.

Часы не заводь. Пусть стоят. Ты поймёшь.

Я записывала за ним слово в слово, не вникая в смысл, — смысл потом. Рука шла ровно, я успевала. Он оставлял на каждую фразу ровно столько тишины, сколько нужно, чтобы её занести.

Он знал, что я буду записывать. Он держал темп под мою руку.

От этого мне стало не по себе — не от слов, а от того, что слова были рассчитаны. Человек, диктующий восемь лет назад в пустую комнату, не может знать, с какой скоростью будет писать тот, кто это услышит. А он знал. Он оставлял паузы точно по руке, будто видел её перед собой. Будто уже видел, как я это записываю, — за годы до того, как я взяла ручку.

Каждое указание было про то, что уже сбылось. Опиш я и так вела сама. Писем и правда стало больше — восьмое принесла Соль. Часы я не завела. Он перечислял мои поступки прошедшей недели в будущем времени, и все они уже случились.

Я остановила плёнку и посмотрела на счётчик. Прошло восемь минут. Голос ни разу не назвал ни имени, ни места, ни числа. Ни одного слова, за которое можно зацепиться и проверить. Одиннадцать минут записи — я видела по остатку на катушке — и первые восемь из них не давали мне ничего, кроме указаний.

Я снова пустила плёнку.

* * *

На девятой минуте он остановился на середине слова.

Не закончил, не поправился, не повторил. Слово оборвалось на вдохе, будто он открыл рот для следующего звука — и не издал его.

Потом стало тихо.

Не так, как бывает тихо между фразами. Между фразами плёнка идёт, и в ней слышен ход: ровный шелест ленты, тонкий, как дыхание пыли. Здесь этого не было. Здесь была пустота, в которой не слышно даже плёнки, будто на эти секунды остановилось всё сразу — и он, и лента, и комната.

Я считала, как считаю всё.

Раз.

Два.

Три.

Три секунды. Я перемотала назад и прошла их снова, поднеся диктофон к уху. То же самое. Не пауза. Провал.

Я задумалась над этим провалом, потому что провал — тоже документ, только читать его надо иначе.

Когда пишущий диктофон работает, лента всегда даёт фон: собственный шум дорожки, шелест механизма, воздух комнаты. Даже в полной тишине запись «дышит» — по этому дыханию слышно, что аппарат пишет. Здесь дыхания не было. Три секунды абсолютной, вырезанной пустоты, а потом звук возвращался.

Так не бывает само собой. Так бывает, когда запись останавливали и включали снова — на паузу, кнопкой. Между «выключил» и «включил» на ленте не остаётся ничего, и стык слышен как провал.

Значит, он не просто замолчал. Он нажал паузу. Договорил до середины слова, остановил запись — и через сколько-то времени, которого на плёнке нет, включил снова.

А когда включил, в комнате был уже не он один.

* * *

Женский.

Я не различила ни одного слова. Голос был тихий, ниже, чем ждёшь от женского, и он не говорил в микрофон — он был сбоку, дальше, будто человек стоял не у стола, а у двери и произнёс это не для записи. Голос был тихий, ниже, чем ждёшь от женского, и он не говорил в микрофон — он был сбоку, дальше, будто человек стоял не у стола, а у двери и произнёс это не для записи.

Одна фраза. Короткая. С вопросительной интонацией в конце — она не сообщала, она спрашивала.

Я перемотала и прослушала. Прибавила громкость до предела — пошёл фон, зашипела лента, а голос не стал ближе. Слова не собрались. Я слышала музыку фразы, её длину, её вопрос — и ни одного слова.

Я сделала всё, что можно сделать дома.

Замедлила, придержав катушку пальцем, — голос поплыл вниз, стал гуще, но слова от этого не проявились, а расплзлись. Прогнала через наушники, прижав их к столу как резонатор, — прибавилось низа, слова остались за порогом. Записала фразу на свой диктофон и прослушала копию — копия вышла глуше оригинала, как я и боялась, и на ней от голоса осталась одна интонация.

Дело было не в громкости и не в чистоте. Голос звучал так, будто его записали сквозь стену: все частоты, по которым узнаются слова, срезаны, а те, что несут музыку речи, остались. Так слышно соседа за стеной — понятно, что говорит, спрашивает или сердится, а слов не разобрать.

Я приложила диктофон вплотную к уху и закрыла глаза, чтобы ничего, кроме звука. Ритм я поймала: восемь слогов, ударение к концу. Вопрос из восьми слогов, заданный женщиной, которую он не звал к микрофону и не оборвал, когда она заговорила.

А потом запись кончилась.

Не щелчком, не шорохом остановки. Просто на середине её вопроса лента дошла до конца записанного, и дальше пошло чистое, ровное шипение пустой плёнки. Он не выключал диктофон. Запись оборвалась сама — там, где было что записывать, а потом не стало.

Я прогнала пустой хвост до упора, до конца катушки, надеясь, что дальше есть ещё. Дальше не было ничего. Одиннадцать минут: восемь его, три секунды провала, несколько секунд её — и тишина до края.

Он оставил мне восемь минут ясных, разборчивых указаний. И одну её фразу, которую невозможно разобрать. Он, диктовавший так чисто, что я успевала записывать под диктовку, дал этой фразе прозвучать так, что не разобрать ни слова. Либо так вышло. Либо так было нужно.

Я не знаю, что из двух, и записала оба варианта в блокнот, столбиком, как записываю версии.

* * *

Я сидела за столом. Перед мной лежал блокнот, и в нём было записано всё, что сказал он, слово в слово, восемь минут указаний. А под этим — пустая строка, которую я оставила для неё.

Я не могла её заполнить.

Впервые за эти дни у меня был документ, который я не умела прочесть. Не потому, что чего-то не знала о бумаге или чернилах. Потому, что звук нельзя разложить пинцетом, посветить на него сбоку и увидеть, что скрыто под верхним слоем. Звук либо разобрал, либо нет.

Бумагу я читаю по нажиму: где рука давила, где дрогнула, где остановилась подумать. Мне на секунду показалось, что и здесь так можно — по голосу услышать, где человек напрягся, где солгал, где испугался. Я прошла восемь его минут заново, вслушиваясь не в слова, а в дыхание между ними, ища ту самую дрожь, которую нахожу на бумаге.

Дыхание было ровным всюду. Ни разу не сбилось — ни на «дочери», ни на «проиграл», ни перед провалом. Либо человек не волновался, диктуя такое, — а так не бывает. Либо я не умею слышать то, что умею видеть.

Второе было вернее. Бумага — моё. Голос — нет. И тот, кто разложил мне эту дорогу, знал, к кому послать за голосом, потому что сама я его не возьму.

Я поставила в пустой строке восемь чёрточек. По слогу.

И знак вопроса в конце, потому что это я расслышала точно.

Копию со своего диктофона я не стёрла. Убрала кассету в конверт, надписала «дубль, качество ниже оригинала» и положила в ящик, отдельно от коробки. Если оригинал осыплется в чужих руках, у меня останется хотя бы это — интонация без слов. Восемь слогов, падающих к вопросу, и больше ничего.

Так я впервые сделала копию того, что не понимаю. В архиве это называется страховочным экземпляром. Дома у меня это называлось иначе, но слова я подбирать не стала.

* * *

Голос отца я не помнила. Восемь лет назад его вынули из меня вместе со всем остальным, и на плёнке он был для меня чужим человеком, называющим меня дочерью.

Но эту женщину я не помнила тоже — а между тем поймала себя на том, что жду её фразу, как ждут знакомое. Не слова. Саму фразу: её длину, её падение к концу, вопрос. Будто где-то во мне лежит форма под этот вопрос, пустая, и он в неё почти встаёт.

Я проверила себя так, как проверяю всё. Прокрутила фразу ещё раз и попробовала предугадать, где она кончится, — закрыла глаза и подняла палец на том слогe, на котором, по-моему, она должна оборваться.

Палец встал точно. Восьмой слог, ударение, вопрос — я знала, где будет конец, ещё до того, как он прозвучал.

Так знают только то, что слышали раньше. Мелодию, которую не помнишь, но подпеваешь. Дорогу, по которой ходил ребёнком и забыл, а ноги помнят поворот.

Я не помнила ни голоса, ни слов, ни женщины. Но конец её фразы я угадала, потому что он уже был во мне — пустой формой, местом, где когда-то что-то стояло.

Забыть голос — не значит забыть человека. Что-то остаётся и после того, как забрали всё: не память, а место, где память была. Ямка на её месте, по которой видно, что здесь что-то лежало.

Я не произнесла этого вслух. Я просто закрыла блокнот на странице с восемью чёрточками.

* * *

Плётку надо было отдать тому, кто умеет.

Отдавать её мне не хотелось — это была единственная копия голоса, которого я не помнила, и с каждым прогоном она осыпалась. Но дома я взяла с неё всё, что могла, а осталось главное — восемь слогов, которые я не разобрала. Держать плётку у себя и не понимать её означало то же самое, что оставить пустую графу. А я их не оставляю.

Я спросила у Соль — позвонила в Дом писем по номеру, который она оставила на обороте конверта, мелко, в углу. Гудки шли долго, дольше, чем ждёшь от места, где есть телефон. Трубку сняли, но не сразу заговорили: сначала я услышала ту же тишину с запахом, если тишина может пахнуть, — тот же глухой подвал.

— Мне нужно разобрать запись, — сказала я. — Голос, который не слышно.

На том конце помолчали.

— Плёнку? — спросила Соль.

— Плёнку. Женский голос. Восемь слогов, вопрос. Больше ничего не разобрать.

Соль помолчала ещё, и молчание это было другое, чем в начале, — не пустое, а такое, будто она что-то решает.

— Тогда не ко мне, — сказала она наконец. — Есть человек. Лиор. Он берёт то, чего на плётке уже почти нет.

— Он восстанавливает звук?

— Он слушает, — сказала Соль. — Это не одно и то же. Восстановить можно то, что есть, но потерялось. А он находит то, чего нет. Приходите к нему днём. Вечером он не работает — говорит, вечером плохо слышно.

— А что он слышит вечером хуже?

Соль не ответила на это.

— Скажете, что от меня, — сказала она. — И вот ещё. Он спросит, чей голос. Не отвечайте сразу. Пусть сначала послушает. Если сказать заранее, он услышит то, что вы сказали, а не то, что на плётке.

Она положила трубку раньше, чем я успела спросить, откуда она знает, что голос не один. Ведь я сказала «голос, который не слышно». Про то, что их на плёнке двое, я не говорила.

* * *

Я записала имя в блокнот, отдельной строкой, рядом с восемью чёрточками и знаком вопроса.

Три записи на одной странице, и все три — про то, чего я пока не могу разобрать: число с чужих часов, вопрос без слов и имя человека, который, может быть, эти слова услышит.

Часы, письмо, голос. Три предмета из коробки — и каждый вывел меня к человеку, которого я не знала неделю назад. Ноэль. Соль. Теперь Лиор.

Кто-то разложил эту дорогу заранее, предмет за предметом, как раскладывают опись. И на каждом предмете стояло имя того, к кому я приду.

Глава 6. Колонка

Я проснулась от вкуса воды.

Не от жажды — от вкуса. Во рту стояла вода: холодная, с железом, отдающая ржавым краном, какую пьют не из бутылки, а из-под струи, подставив ладони. Я лежала и чувствовала её на языке так ясно, что села и потрогала губы — сухие. Я не пила ночью. стакан на тумбочке стоял полный.

А вкус держался. И вместе с ним держалось ещё что-то — не картинка, а её край, готовый развернуться, если не спугнуть.

Я закрыла глаза и не стала спугивать.

* * *

Дорога была длинная.

От остановки до воды далеко — так далеко, что взрослый идёт молча, а тот, кто поменьше, к середине пути перестаёт спрашивать «скоро ли». По обочине стояли лопухи выше головы, и в их тени было прохладно, а на дороге — жарко, и мы шли то в тени, то на солнце, полосами. Под ногами была не мостовая, а укатанная земля с колеёй, и в колее лежала белёсая пыль; она поднималась от шагов и садилась на мокрые щиколотки.

Впереди несли ведро. Красное, с отбитой по краю эмалью, и на сколе металл заржавел рыжим ободком. Его переключивали из руки в руку каждые сколько-то шагов — я считала эти шаги, но не помню числа, помню только, что считала, и что число было всегда одно и то же. На дне ведра переключивалось что-то мелкое и стучало о стенку при каждой переключке: тук, тук, тук.

Идти было интересно и немного страшно — так, как бывает, когда взрослый впереди молчит, а ты не знаешь, устал он или сердится, и спросить не решаешься.

Потом была колонка. Железная, крашенная зелёным, краска на рычаге стёрлась до металла — там, где берутся рукой, и металл под ней был отполирован ладонями до блеска. На рычаг надо было налечь всем телом, и вода шла не сразу: сначала аппарат вздыхал воздухом, гулко, из глубины, потом плевался рыжим, толчками, и только потом шла чистая — сплошной холодной струёй, от которой ломило зубы и пахло железом и мокрым камнем.

Пила я не первой. Первой пила та, что поменьше, потому что так заведено. Она встала под струю боком, вода полилась на плечо, и она сказала — не мне, воде:

— Холодная.

Голос за спиной ответил:

— Ты низко стоишь, вот и холодная. Кто повыше, тому теплее.

Голос был спокойный, обыкновенный — из тех, что говорят одно, а думают о другом. Я хотела обернуться на него. Я помню, что хотела, — и не обернулась. В памяти это место, где стоит человек, есть, а самого человека нет: не спина, не затылок, не отвернулся — просто пусто, как бывает пусто там, откуда вырезали и края сошлись.

Я подставила ладони. Вода набралась в горсть, я поднесла её ко рту, и она была та самая — холодная, с железом, отдающая краном.

Раз, два, три, четыре.

Кто-то считал. Или я. Счёт шёл ровно, до четырёх, и на четвёртом обрывался, и начинался снова.

* * *

Я открыла глаза.

Комната. Моя комната, свет из окна, полный стакан на тумбочке. Вкус воды уходил медленно, как уходит запах с одежды: я сглотнула раз, другой, и с каждым глотком железа во рту становилось меньше, но совсем оно ушло только к тому времени, как я оделась.

Это было не сновидение. Сны я забываю в первые минуты, они распадаются, стоит встать. А это не распадалось — наоборот, чем дольше я не двигалась, тем плотнее становилось: я могла вернуться к колонке и посмотреть на неё ещё раз, могла сосчитать сколы на эмали ведра. Так не помнят сны. Так помнят то, что было.

Только этого со мной не было.

Я взяла блокнот и записала, пока держалось: дорога, лопухи, красное ведро, зелёная колонка, счёт до четырёх. Записывала теми же словами, какими описываю поступление в опись, — наименование, состояние, приметы, — и от этого картинка не тускнела, а закреплялась, как закрепляется на бумаге всё, что на неё занесли.

И приписала внизу то, что смущало больше всего: в этой картинке нет ни одного лица. Есть спина того, кто нёс ведро, есть голос за плечом — а лиц нет. Ни у кого.

Так у меня и с отцом. Я думала, это оттого, что я не помню отца. Но здесь была не одна пустота, а две: и тот, кто нёс ведро, и тот, чей голос, — оба без лиц. Двое, которых я не помню в лицо, в одной дороге, которую я откуда-то помню в подробностях.

Я не бывала у этой колонки. Я знала это так же точно, как знаю содержимое описи: в моей жизни не было такой дороги, такого ведра, такой воды. И всё-таки вкус её я узнала раньше, чем проснулась.

* * *

Днём я поехала в бюро записи.

Мне нужен был документ — любой, где отец вписан рядом со мной. Свидетельство о рождении у меня своё, домашнее, я знала его наизусть, но домашнему я больше не доверяла: за неделю выяснилось, что дома у меня нет ни одной его строки, и я хотела увидеть запись там, где её не убрать из ящика, — в казённой книге.

Бюро записи стоит на другом конце города, в сером здании, где когда-то был не то суд, не то управа: высокие двери, стёртые ступени, гулкие потолки, съедающие голос. Приём был по вторникам и четвергам. Я попала во вторник, к концу дня, когда очередь схлынула и в зале осталась одна женщина за стойкой.

Она читала, положив книгу на колени под стойкой, чтобы не видно было, и подняла глаза не сразу.

— По какому вопросу?

— Мне нужна запись о моём рождении. Заверенная копия.

Она спросила имя, год, вписала на бланк-требование и ушла к стеллажам за перегородкой. Оттуда донеслось, как двигают тома — тяжёлые, в переплётах, — и как она перелистывает, ведя пальцем, привычным движением человека, который делает это по сто раз в день.

Вернулась она с толстой книгой актов, раскрытой на середине, придерживая страницу большим пальцем.

— Есть запись. О рождении. Вот.

Она развернула книгу ко мне, не выпуская из рук, и повернула лампу.

Моя строка. Имя, число, мать — имя матери, которого я, глядя на него сейчас, не могла соотнести ни с одним лицом. Всё на месте.

Против имени матери стояла ещё одна пометка, служебная, мелким шрифтом. Я знаю эти пометки: ими на полях книги актов отмечают, что человека больше нет и запрашивать его бесполезно. Такую пометку ставят, когда мать умерла до того, как ребёнок вырос настолько, чтобы её помнить.

Значит, спрашивать было не у кого и некого искать. Мать ушла раньше, чем оставила мне своё лицо. Я не почувствовала на это ничего — и это отсутствие чувства было честнее любого горя: нельзя тосковать по тому, чего не было.

А в графе «отец» стоял прочерк.

* * *

— Здесь ошибка, — сказала я. — Графу не заполнили.

— Заполнили. — Женщина посмотрела на меня поверх очков. — Прочерк — это заполнение. Пустая графа и прочерк — разные вещи. Пустую не успели, прочерк поставили нарочно.

— В чём разница для записи?

— Пустую можно дописать потом. Пришёл отец, признал, принёс бумаги — вписали. А прочерк дописать нельзя, поверх него уже ничего не встанет. Прочерк — это не «пока неизвестно». Это «места нет».

Я наклонилась ближе.

Прочерк был не такой, как ставят от руки между делом. Его провели с нажимом, дважды по одному месту, и на второй раз перо продавило бумагу — под чертой она вспучилась, а в конце прорвалась, и сквозь дырочку виден был следующий лист.

Так не ставят прочерк «неизвестен». «Неизвестен» ставят легко, одним движением, потому что за ним ничего нет. Этот давили. Этот выводили, как выводят подпись, — со смыслом, с усилием, чтобы держался.

Я знаю нажим. Нажим — это то, что чувствует рука в момент письма, и это единственное в документе, что нельзя подделать задним числом, потому что нажим — не форма буквы, а сила за ней. Здесь под рукой было не «не знаю». Здесь было «не будет». Не пробел на месте неизвестного отца — запрет на его имя, поставленный тем, кто имя знал.

— Часто так ставят? — спросила я. — Прочерк с нажимом?

Женщина посмотрела на страницу внимательнее, будто впервые.

— Обычно легонько. — Она провела ногтем рядом, не касаясь. — А тут да, продавлено. Кто-то очень не хотел, чтобы имя вписали. — Она подняла на меня глаза, и в них впервые мелькнуло не служебное, а человеческое. — Или чтобы вписали позже. Поверх прорванного не пишут.

— Кто вносил запись? Регистратора видно?

— Внизу подпись. — Она повернула книгу. — Но фамилию не разобрать, стёрлась. Старая запись.

Подпись и правда стёрлась — вся, кроме первой буквы.

Я на неё посмотрела и не сказала вслух, что уже видела эту букву. На внутренней крышке отцовских часов. Одну, в начале; дальше не читалось.

Одна и та же буква стояла теперь в трёх местах: внутри часов, под стёртой подписью регистратора и, если верить Ноэлю, была именем, которое отец носил на чужих часах восемь лет.

Я смотрела на страницу дольше, чем смотрят на заверенную выписку, и женщина это заметила.

— Вам плохо? — спросила она.

— Нет. Читаю.

— Читать нечего. — Она мягко потянула книгу к себе. — Прочерк да подпись. Копию сделаю, дома насмотритесь.

Она не была недоброй. Просто за стойкой быстро учишься отличать тех, кто пришёл за бумагой, от тех, кто пришёл за чем-то, чего в бумаге нет. Второе за стойкой не выдают. Я знала это лучше неё — сама сижу за такой же стойкой в другом конце города.

* * *

Копию мне сделали за отдельную плату, на сером бланке, с печатью.

Пока женщина заполняла квитанцию, я смотрела на её руки — по привычке, которая мне уже дважды за неделю ничего не дала и всё равно не отпускала. Руки были усталые, с набрякшими венами, ноготь на указательном сломан низко. Она заполняла квитанцию медленно, дважды сверилась с книгой, переспросила у меня год, хотя год был записан. Аккуратный человек, решила я. Боится ошибиться в чужом документе.

А когда она пошла ставить печать, я заметила, что бланк она взяла не из верхней стопки, а из нижней, из-под остальных, — и не глядя, как берут то, что заранее отложили. Я не поняла, что это значит, и не знала, значит ли вообще. Но записать людей по рукам я снова не сумела: аккуратность и отложенный заранее бланк — это могло быть что угодно, а могло быть ничего.

Я вышла на крыльцо и села на холодную скамейку. Достала копию, посмотрела на прочерк ещё раз — на копии он вышел жирной чертой, без прорыва: копир не передаёт нажим, он передаёт только след. Тот, кто будет читать эту копию после меня, увидит просто прочерк. Он не узнает, что бумагу под ним прорвали.

Столько лет я читаю чужие документы и верю нажиму больше, чем словам. А в собственном документе, самом первом, нажим говорил мне то, чего я не хотела знать: отца не забыли вписать. Отца вписали как отсутствие. И сделал это кто-то, чья подпись начинается с той же буквы, что имя внутри его часов.

Я сидела на скамейке с копией в руках и складывала утро с днём.

Утром пришла вода с дороги, которой у меня не было. В той дороге двое без лиц: тот, кто нёс ведро, и тот, чей голос сказал про тёплую и холодную воду. В документе передо мной тоже было двое: мать, чьё имя ни с чем во мне не соединялось, и отец, вписанный прочерком.

Двое утром, двое днём. Утром — без лиц. Днём — без имён у одного и без соответствия у другой. Я привыкла, что документ и память подтверждают друг друга: запись сверяют с показанием, показание с записью. А здесь они подтверждали одно — что в обоих у меня дыра на месте тех, кто должен был там быть.

Мать я видела в книге буквами и не почувствовала ничего — ни узнавания, ни отклика. Просто имя в графе, как имя чужого владельца в чужой описи. Я попробовала вызвать хоть что-нибудь: лицо, голос, руку. Ничего. Там, где у людей мать, у меня была графа, заполненная правильно и не значащая ничего.

Одно лицо на всё утро и весь день так и не проступило. И я поймала себя на том, что не знаю, чьё именно лицо ищу — матери, отца или той, что несла ведро.

* * *

Дома я развернула карту — ту, без названий, перечерченную от руки.

Береговая линия, три дороги, штриховка холмов. Одна из дорог шла от края листа к воде, длинная, прямая, и по ней в двух местах стояли короткие поперечные штрихи — так на картах помечают то, что стоит у дороги. Столб, колодец, часовню. Я не знала что.

Я приложила палец к этой дороге и прошла её от края до воды, медленно, как ведут по строке при сверке.

И на середине, у второго штриха, остановилась, потому что поняла, что ищу.

Я искала на ней колонку.

Я не приказывала себе её искать. Палец сам замедлился у поперечного штриха, будто знал, что там должно стоять, — там, где на укатанной дороге, в трёх километрах лопухов, у поворота к воде, стоит железная колонка, крашенная зелёным, с рычагом, стёртым до блеска.

Такой дороги в городе нет. Я знаю город — по адресам выдач, по маршрутам развоза, по восьми годам описей, которые я возила из конца в конец. Ни трёх километров лопухов, ни колонки на обочине, ни озера в конце. Дороги из моей утренней воды в этом городе не существует.

А на карте отца она была. И палец мой знал на ней место колонки раньше, чем я успела подумать, что колонки на карте нет.

Я разложила рядом два листа: карту и копию из бюро. На копии — прочерк вместо отца и имя матери, которое ничего мне не говорит. На карте — дорога, которой нет в городе, и на ней место, которое помнят мои пальцы, а не голова.

Оба листа вели к воде. Карта — линией к берегу. Прочерк — тем, что забирал у меня начало и оставлял только направление: туда, откуда я, но без тех, кто меня туда привёл.

Соль сказала: Дом писем на набережной, за старой солеварней, где мостки. У воды. И карта отца упиралась в воду. И дорога из моей чужой памяти кончалась водой.

Три раза за неделю мне показали в одну сторону, ни разу не назвав её.

Я подшила копию из бюро к своему делу — тому, что вела для себя, никому не сдавая. Дело росло. Заключение по письму, лист версий про часы, восьмое письмо, запись голоса с восемью чёрточками, теперь выписка с прочерком. Пять документов, и ни один не отвечал на вопрос, а каждый добавлял новый.

В хорошем деле с каждым листом остаётся меньше неизвестного. В моём — больше. Я собирала не разгадку, а опись пустых мест: без лица, без имени, без голоса, без начала. Кто-то восемь лет заполнял мою жизнь прочерками, ровно и с нажимом, чтобы держались.

Родители оставляют детям не только жизнь. Иногда они оставляют им своё незаконченное бегство.

Раз, два, три, четыре.

Глава 7. Дыхание

Лиор жил на последнем этаже дома без лифта, и лестница пахла так же, как у нас в архиве, — пылью и старой бумагой, только к этому примешивалось нагретое железо и сладковатый душок, какой идёт от размагниченной ленты.

Соль велела прийти днём: вечером он не работает, вечером плохо слышно. Я пришла в третьем часу. Дом стоял в глубине двора, окна выходили не на улицу, а на стену соседнего, и во всём подъезде было тихо той особой тишиной, какая бывает там, где человеку важно слышать.

Дверь он открыл раньше, чем я постучала. Не спросил, кто я. Отступил и кивнул на стул у стола.

Комната была маленькая и обита по стенам чем-то мягким — не обоями, а серым войлоком, приколотенным листами. Он глушил звук: я поняла это, когда закрылась дверь и звуки лестницы разом отрезало, будто заткнули уши. В такой комнате собственный голос кажется ближе, чем привык, и я невольно заговорила тише.

На столе стоял катушечный магнитофон — большой, старый, с двумя бобинами и рядом ручек, отполированных пальцами до блеска. Рядом — ещё аппараты, помельче, и коробки с лентами, надписанные от руки, стопками до подоконника. Здесь тоже был архив. Только его архив звучал, а мой лежал молча.

— От Соль, — сказал он. Не спросил.

— Да. Мне нужно разобрать запись. Женский голос, восемь слогов, не слышно слов.

— Слов вы от меня не получите, — сказал он сразу, будто закрывал этот вопрос, пока я не начала на него надеяться. — Давайте кассету.

Я отдала. Он взял её двумя пальцами и не поднёс к уху, как Ноэль, а наоборот — отвёл подальше, повернув к свету, и посмотрел на ленту через окошко корпуса.

— Перематывали руками, — сказал он. — Много раз. Тут вот залом. — Он показал ногтем на край окошка, где я ничего не видела. — Каждый прогон стирает верх. Вы её сколько слушали?

— Раз пять.

— Тогда торопитесь, — сказал он без упрёка. — Того, что было пять прогонов назад, уже нет.

* * *

Он не поставил её в свой большой магнитофон. Достал из ящика кассетник поменьше, воткнул наушник — один, в левое ухо, — и второй мне не предложил. Правое ухо он держал отвёрнутым от динамика.

Я заметила это и запомнила: он слушал не обоими ушами, а одним, левым, и всё время чуть доворачивал к звуку голову, как доворачивают антенну. Правое, похоже, не слышало вовсе. Человек, который слышит половиной того, чем слышат остальные, и поэтому научился слышать иначе.

Он пустил запись с начала.

Сидел неподвижно, прикрыв глаза. Руки лежали на столе плоско, ладонями вниз, и не двигались — а я уже знала, что у таких людей неподвижные руки означают не покой, а работу.

Голос отца шёл ровно, по-служебному. Я слушала не запись — я слушала Лиора. На седьмой минуте он чуть нахмурился, будто наткнулся на что-то, и снова разгладил лоб. На восьмой — открыл глаза.

— Он ни разу не соврал, — сказал Лиор. — За всю запись. Ни в одном слове.

— Как вы это слышите?

— По воздуху. — Он снял наушник. — Когда человек собирается соврать, он перед этим добывает воздух. Коротко, лишний глоток, чаще всего сам не замечает: тело готовится держать неправду, а на неправде дыхание сбивается, вот оно и запасается. Это слышно всегда. У всех.

— Всегда — это сильно сказано.

Он посмотрел на меня, и что-то вроде интереса мелькнуло в его лице — первое за всё время.

— Скажите мне два предложения, — сказал он. — Одно правда, одно нет. В любом порядке. Только не подряд думайте, а как придётся.

Я не люблю такие игры. Но я пришла к нему за тем, чего сама не умею, и глупо было не посмотреть, как он это делает.

— Я работаю в архиве, — сказала я. И, помолчав: — Я приехала к вам на трамвае.

— Первое правда, — сказал он сразу. — Второе — нет. Перед вторым вы добрали воздух. Чуть-чуть, носом. Пешком пришли?

Я пришла пешком. Всю дорогу пешком, как хожу теперь всюду с коробкой и без коробки.

— Это не фокус, — сказал он, увидев, что я молчу. — Это просто единственное, что я умею, вместо того, что умеют все. Я плохо слышу слова. Приходится слышать под ними.

Он снова надел наушник и вернулся к плёнке.

— За двадцать лет я не встречал записи, где человек говорил бы так долго и ни разу не добрал лишнего. Восемь минут. Ваш отец либо не солгал ни в одном слове, либо...

— Либо?

— Либо он не человек, — сказал Лиор просто, без выражения. — Но так не бывает, поэтому — первое. Он говорил правду. Всю. Это редко и, честно говоря, страшнее, чем ложь.

— Почему страшнее?

— Потому что лжец чего-то боится, — сказал Лиор. — Боится, что поймут, что накажут, что разлюбят. Страх — это по-человечески, за него можно ухватиться. А человек, который восемь минут говорит чистую правду в диктофон, спрятавшись в комнате без окон, ничего уже не боится. Ему нечего терять. Так говорят не для того, кто слушает сейчас. Так говорят в завещание.

Я это уже слышала — не словами, а самой записью. «Если это слушает моя дочь — значит, я проиграл». Человек, который так начинает, действительно ничего не боится, потому что худшее для него уже случилось. Лиор просто назвал вслух то, что стояло на плёнке с первой секунды.

* * *

— А женский голос? — спросила я. — Девятая минута.

Лиор перемотал. На этот раз он не закрыл глаза — наоборот, смотрел на кассетник в упор, будто мог увидеть звук.

Провал в три секунды. Потом — её голос, тот же неразборчивый вопрос из восьми слогов.

Он отмотал и прошёл это место ещё раз. Ещё. На четвёртый раз остановил.

— Плохо дело, — сказал он. — Точнее, странное дело.

Он взял лист бумаги и нарисовал две линии, одну над другой.

— Вот мужской голос. — Верхняя. — Он лежит сверху, свежий, его записали последним. А вот женский. — Нижняя, слабее. — Он лежит под. Не поверх мужского, а под ним. Понимаете?

— Не совсем.

— Ленту используют по многу раз. Записал, стёр, записал заново. Но стирают её не начисто — старое остаётся внизу, тише, как тень под новым слоем краски. — Он постучал по нижней линии. — Женский голос — это тень. Он был на этой ленте раньше. Его стёрли, а сверху записали вашего отца. И когда отец нажал паузу на девятой минуте, стёртое на секунду проступило снизу.

Я смотрела на две линии и складывала то, что он говорит.

— Значит, она сказала это не тогда, — проговорила я. — Не в той комнате. Не отвечая ему.

— Она сказала это раньше, — кивнул Лиор. — Насколько — не скажу. Но раньше. Может, на годы. Её голос старше записи, которую вы принесли.

Я смотрела на две линии и понимала, что стоит за ними, и от этого понимания делалось нехорошо.

— А комната, — спросила я. — Про комнату можете сказать? Где он записывал.

Лиор снова надел наушник, отмотал к началу мужской дорожки и послушал несколько секунд.

— Малая, — сказал он. — Твёрдые стены, ни ковра, ни ткани. Звук отскакивает и возвращается сразу, без задержки. Окон нет: с улицы не входит ничего — ни машины, ни ветра, ни соседей. Он под землёй или в середине здания, за глухими стенами. — Лиор снял наушник. — Такие комнаты делают, чтобы не было слышно наружу. И чтобы снаружи не было слышно, что внутри.

Я это уже слышала сама — твёрдые стены, короткое эхо, каплю воды где-то далеко. Но я слышала это как приметы места. Лиор услышал как назначение: не «где», а «зачем». Отец записывал завещание там, где его нельзя подслушать. Он прятался, когда говорил мне правду.

Отец не записывал их разговор. Он записывал своё завещание — в комнату без окон, один. А когда нажал паузу на девятой минуте, лента показала то, что было на ней прежде: чей-то давний вопрос, стёртый, но не насмерть. Значит, эту самую ленту когда-то держала в руках женщина и что-то на неё говорила. Потом ленту стёрли и отдали отцу. Или отец сам её стёр и записал поверх.

В любом случае лента прошла через две пары рук с промежутком в годы, и обе пары что-то на неё доверили. Мне досталась вторая запись — а первую кто-то пытался убрать и не сумел до конца.

— Тот, кто стирал, — спросила я, — он знал, что снизу останется след?

— Кто стирал наспех — не знал. Кто стирал умеючи — знал и всё равно оставил. — Лиор пожал плечом. — Стереть ленту начисто можно только магнитом, сильным, специальным. Обычной перезаписью — нельзя, низ всегда остаётся. Тот, кто это делал, либо не имел магнита, либо не хотел стирать совсем. Оставил тень. Может, нарочно.

— Зачем оставлять нарочно?

— Чтобы тот, кто будет слушать внимательно, услышал, что тут кто-то был. — Лиор посмотрел на меня. — Вы услышали. Вы же за этим пришли.

* * *

— Прочитать можете? Восемь слогов.

— Нет. — Он покачал головой. — Слова стёрли, остался только контур: сколько слогов, где ударение, вопрос или нет. Мелодия есть, слов нет. Восстановить можно то, что записано слабо. То, что стёрли нарочно, — нельзя.

— Что вы можете сказать про неё? Хоть что-нибудь.

Он подумал, прежде чем ответить, и ответил осторожно, как человек, который не любит говорить больше, чем слышит.

— Немолодая. Стояла близко к тому, что писало. Говорила спокойно — воздух ровный, добора нет. — Он посмотрел на меня. — Она тоже не солгала. В своих восьми слогах. Как и он.

— Двое, которые не лгут, — сказала я.

— Двое, которые не лгут, на одной ленте, с промежутком в годы. — Лиор чуть повернул ко мне левое ухо, будто и меня слушал не глазами. — Люди лгут голосом. Воздух — никогда. За двадцать лет у меня было много лент, и почти на каждой кто-нибудь да добирал воздух. А

тут двое подряд — и ни один. Я бы на вашем месте не радовался. Правда, которую прячут под чужим голосом и стирают, — это не та правда, за которой хорошо ехать.

* * *

Он не отдал мне кассету просто так. Сел к столу, взял бланк — обычный, разлинованный, с шапкой на своё имя, — и стал писать. Медленно, печатными буквами, как пишут те, кому важно, чтобы прочли без ошибки.

Пока он писал, я смотрела на его руки и, по привычке, пробовала прочесть их. Ничего не вышло. Руки были ровные, спокойные, без подсказок — как у Ноэля. Я снова читала человека и снова ничего не вычитывала, а он в это время читал по воздуху то, чего я не слышала вовсе. Каждый из нас читал по-своему, и мой способ рядом с его был как лупа рядом со слухом.

Он подвинул мне лист.

Заключение по фонограмме.

Носитель — кассетная лента, износ высокий, пригодность к дальнейшему воспроизведению ограничена.

Дорожка первая (верхняя): мужской голос, речь связная, добор воздуха перед смысловыми группами отсутствует. Признаков неискренности не выявлено на всём протяжении.

Дорожка вторая (нижняя, остаточная): женский голос, фрагмент, восемь слогов, интонация вопросительная. Запись более ранняя, частично стёрта до нанесения первой дорожки. Восстановлению речевого содержания не подлежит. Признаков неискренности в доступном фрагменте не выявлено.

Особое: две записи разного времени на одном носителе. Промежуток между ними значителен.

Исполнитель: Лиор.

Подписи он не поставил. Вместо подписи в углу нарисовал те же две линии — верхнюю и нижнюю.

— Подпись подделывают, — сказал он, поймав мой взгляд. — А это — нет. Кто знает, поймёт, чьё.

* * *

Я взяла лист и встала. Мне надо было выйти на воздух и разложить это по местам.

— Чей голос? — спросил Лиор, когда я была уже у двери.

— Отца.

— Я про женский.

Я остановилась, держась за ручку.

Я не знала ответа. Не могла знать. У меня не было ни лица, ни имени, ни памяти — только форма из восьми слогов, в которую этот голос вставал так, будто она под него и была вырезана.

И всё-таки, стоя к Лиору спиной, я открыла рот, чтобы что-то сказать, — и поняла, что чуть не назвала. Слово уже стояло на языке, готовое, как стоит на языке имя, которое вот-вот вспомнишь. Я закрыла рот, не выпустив его.

— Не знаю, — сказала я.

— Знаете, — сказал Лиор мне в спину, спокойно, без нажима. — Просто ещё не слышите.

Я обернулась. Хотела прочесть по нему, знает ли он больше, чем сказал, — по лицу, по рукам, по тому, как он держит голову. Я делала это уже с Ноэлем, с Соль, с женщиной в бюро, и каждый раз впустую, но не делать не умею.

Лиор сидел вполоборота, левым ухом ко мне, и лицо его было спокойным и закрытым, как хорошо стёртая лента. По нему не читалось ничего. А он в это время, видимо, слышал, как я дышу, — и знал про меня больше, чем я про него, потому что я собиралась соврать «не знаю», и, значит, добрала воздух перед этим.

Он это слышал. И не сказал.

— Приходите ещё, — проговорил он, когда я уже переступала порог. — Только раньше. Пока лента совсем не осыпалась. И ещё. — Он помолчал. — Женский голос я слушал дольше мужского. Он мне знаком.

Я остановилась.

— Откуда?

— Не помню, — сказал Лиор. — За двадцать лет через меня прошли тысячи голосов. Но этот я где-то слышал. Не по имени. По воздуху. Так, как узнают походку за спиной, не оборачиваясь.

* * *

На лестнице было тихо и темно.

Я спустилась на пролёт и остановилась. В сумке лежал его лист с двумя линиями и восьмислоговым вопросом, к которому нет слов. В блокноте — восемь чёрточек. В деле — пять документов, теперь шесть.

Я поднесла ладонь к уху, как поднёс бы он, и прислушалась к дому.

Ничего. Обычная тишина подъезда: где-то капает, где-то работает телевизор за стеной. Я не слышу под звуками. Я вижу под буквами, а под звуками — нет, и голос, который у меня внутри почти складывается в имя, я разобрать не могу, потому что слушаю не тем, чем надо.

Двое на одной ленте, и оба говорят правду, и оба мне почти знакомы, и ни одного я не могу назвать.

Лиор сказал: он говорил в завещание. Тот, кто пишет завещание, знает, что не вернётся. Отец знал это восемь лет назад — и всё равно каждую среду ходил заводить чужие часы, будто у него ещё есть среды впереди. Человек, который простился, и человек, который приходит по средам, — это был один и тот же человек, и я не понимала, как в нём умещались оба.

Я пошла вниз, считая ступени, как считаю всё.

Раз, два, три, четыре.

Глава 8. Бланк

Коробку я разобрала на части не сразу, а на восьмой день.

До этого я работала с содержимым: письма, карта, часы, кристалл, запись. С самой коробкой — нет. А коробка — тоже носитель, и её описывают, как всё: материал, размер, состояние, следы. Я не сделала этого в первый вечер, потому что торопилась к предметам, и это была ошибка. Начинать надо с тары. Тара помнит больше, чем думают: по ней видно, как вещь везли, сколько держали, что вынимали и что доложили.

Я вынула всё, разложила на клеёнке в прежнем порядке и взялась за пустую коробку.

Снаружи — обтёртые углы, следы бечёвки крест-накрест, вмятина на боку. Изнутри — чисто, только на дне лёгкая тень по краю, будто там что-то лежало плашмя и оставило пыльный контур. Я знаю такие тени: их даёт лист, пролежавший долго. Но листа на дне не было. Я его вынимала — там были письма, стоямя, а не плашмя.

На боковой стенке, внутри, я нашла ещё кое-что: полустёртую надпись карандашом, чужую. Несколько букв и цифра, перечёркнутые одной чертой. Так надписывают коробки на складе, когда их используют повторно: старую метку зачёркивают, коробку пускают под новое. Эта коробка жила до отца какой-то другой жизнью, была под чем-то другим, и он взял её уже бывшей в ходу — не купил новую, а нашёл ту, что под рукой. Как бумагу. Как всё в этом деле.

Значит, лист лежал под дном.

Двойное дно в коробке делают просто: вставляют второй лист картона враспор, и между ним и настоящим дном остаётся щель в палец. Снаружи не видно, на вес почти не отличить. Почти — потому что я взвесила коробку в первый день на кухонных весах, машинально, как взвешиваю всё поступающее, и записала: коробка пустая, двести десять граммов. Двести десять — это много для коробки такого размера. Обычная — сто пятьдесят. Я тогда списала лишнее на плотный картон и не вернулась к цифре.

Лишние шестьдесят граммов были второе дно и то, что под ним.

Я поддела край второго дна ногтем — он был подклеен, но давно, клей высох и держал плохо.

Картон отошёл.

В щели лежал сложенный вчетверо лист.

* * *

Я не стала хватать его пальцами. Поддела пинцетом за угол, вытянула, положила на чистый лист и только тогда развернула, придерживая края.

Бумага тонкая, служебная, с жёлтой полосой по краю — такая идёт на бланки строгой отчётности, по одной полосе на ведомство. Сложен лист был лицом внутрь: тот, кто прятал, не хотел, чтобы текст читался с изнанки на просвет.

Это был бланк заказа.

Я видела такие в архиве. Они приходили к нам из ведомства, когда мы поднимали старые дела по запросу, — и в каждом одна и та же сетка граф, отпечатанная типографски, а поверх — вписанное от руки. Форму я знала до последней клетки: номер, категория, объём, срок, исполнение, подписи.

Здесь заполнено было не всё.

Номер — затёрт. Не зачёркнут, не замазан, а именно затёрт: кто-то прошёлся по нему чем-то острым, снял верхний слой бумаги вместе с цифрами, и на этом месте бумага стала тоньше и светлее, с бахромой волокон. Так убирают номер, когда его нельзя оставить, но нельзя и вырвать графу целиком.

Категория — пусто.

Объём — пусто.

Срок — пусто.

Заполнены были только две нижние графы. Те, где ставят подписи.

Первая называлась «заказчик». Вторая — «присутствующий при исполнении».

В обеих стояло одно имя.

Я расправила лист и переписала то, что читалось, себе в блокнот — так, как переписываю документ на опись:

Заказ № затёрто

Категория: —

Объём: —

Срок: —

Заказчик: Лео

Присутствующий при исполнении: Лео

Исполнение: —

* * *

Я смотрела на две подписи и сначала не поняла, что именно меня в них останавливает. Имя одно. Но графы разные, а один человек не бывает сразу и тем, кто заказал, и тем, кто стоял рядом, когда заказанное исполняли. Это как расписаться и за отправителя, и за получателя. Как две мои подписи на бланке выдачи — только там это правило, а здесь так не должно быть.

Я взяла лупу.

Подписи были разные.

Первая, под «заказчиком», — его. Тот самый разрыв в петле, тот наклон, тот уступ нажима. Я узнала её, как узнаю теперь его руку везде: он писал её быстро, привычно, не думая.

Вторая, под «присутствующим», — тоже его. И не его.

Те же буквы, тот же скелет почерка — но выведены медленнее, ровнее, с нажимом там, где в первой нажима нет. Так пишет человек, который старается. Так пишут, когда расписываются не за себя, а как бы за себя, зная, что подпись будут сличать, и заранее её приглаживая.

Я разложила обе под лупой и прошла по признакам, как хожу всегда.

Первая подпись: разгон к концу, последняя буква смазана — рука уже уходит со страницы, не дожидаясь, пока допишется хвост. Так расписывается человек, который делал это тысячу раз и думает уже о следующем деле.

Вторая: ровная от начала до конца, хвост доведён, точка поставлена отдельно. Ни разгона, ни смаза. Рука не спешила уйти — наоборот, задержалась, проверяя себя. И нажим: в первой он падает к концу, во второй держится ровно, будто писавший следил, чтобы не дрогнуло.

Один человек не может расписаться двумя такими подписями подряд, не нарочно. Разгон и смаз — это тело, привычка, их не изобразишь по заказу. А вот убрать их, написать медленно и ровно — можно, если стараться. Значит, первая подпись — настоящая, отцовская. Вторая — тоже его рукой, но с усилием: он гасил в себе собственную привычку, чтобы вторая подпись не была похожа на первую как две капли.

Он не подделывал чужую подпись. Он подделывал свою — под другого человека, которого не было.

Один человек. Две руки. Вторую он вывел из первой, приглушив в себе себя.

Я переписала обе в блокнот, одну под другой, как переносу образцы. Под первой подписи: свободная, быстрая, естественная. Под второй: замедленная, контролируемая, имитация первой.

И остановилась, потому что примечание, которое я собиралась написать третьим, писать не хотелось.

Человек, расписавшийся за себя дважды, — это человек, который был в комнате один, а по бумаге должен был быть не один. Заказчик и тот, кто при исполнении, — по правилам

разные люди, чтобы один не мог сделать это тайком. Отец заполнил обе графы сам. Значит, второго не было. Значит, он сделал так, чтобы на бумаге второй был, а на деле — нет.

Я не знала, что заказывали. Номер затёрт, категория пуста. Но я знала, как выглядит бланк, в котором один человек спрятал, что был совсем один.

Пустые графы говорили не меньше заполненных. Категория пуста — значит, он не хотел записывать, что именно заказано. Объём пуст — не хотел записывать сколько. Срок пуст — не хотел ставить, когда. Всё, что можно потом сопоставить с другими делами и найти, он оставил незаполненным. А номер, который поставили до него, при выдаче бланка, — затёр.

Так вычищают не ошибку. Так вычищают след. Он оставил ровно то, без чего бланк перестаёт быть бланком, — две подписи, потому что без подписи это просто бумага. И даже подписи сделал так, чтобы одна из них была неправдой.

Он не уничтожил бланк. Мог сжечь, мог не класть в коробку вовсе. Вместо этого он вычистил его до костей, спрятал под дно и отдал мне — той, кто по роду работы читает именно вычищенное. Он не прятал от меня. Он прятал для меня, оставив ровно столько, чтобы я поняла: что-то было, а что — он говорить не станет.

* * *

Я подняла лист к лампе и посмотрела на просвет.

По верхнему полю, там, где типографская шапка, проступал слабый оттиск — не печать, а вдавленность от печати, стоявшей на листе, который лежал сверху при заполнении. Через копирку так не бывает; так бывает, когда пишут в стопке и верхний бланк продавливается на нижний. Значит, этот бланк заполняли не отдельно, а в пачке таких же. Он был не единственным. Он был одним из.

Я записала это в блокнот и подчеркнула: бланк из серии. Где-то есть другие с той же шапкой, и, может быть, с проставленными номерами.

Потом я перевернула лист и в нижнем углу, с изнанки, нашла ещё одну вдавленность — от карандаша, стёртого начисто. Слов не осталось, остался только рельеф: три группы штрихов, короткие. Не подпись. Похоже на пометку для себя — из тех, что делают карандашом и стирают, сдав бумагу.

Я не смогла её прочесть. Но три группы — это не одно слово. Это, скорее, что-то вроде «кому, что, когда», сокращённо. Служебная привычка. Так помечаю и я.

* * *

Описать бланк в мою домашнюю опись я не смогла.

У меня для всего есть форма: наименование, состояние, происхождение. А для этого листа наименования не было. «Бланк заказа» — но какого, на кого, кем исполненного? «Документ с двумя подписями одного лица» — но это вывод, а в наименование выводы не пишут. Я повертела формулировку так и эдак и оставила строку пустой, как оставила когда-то строку про наследников. Ещё одна пустая графа в моём деле, где их уже больше, чем заполненных.

Я сложила бланк обратно — тем же сгибом, лицом внутрь, — и не убрала в папку к письмам. Положила отдельно, на край стола, лицом вниз. К письмам не хотелось: письма были обращены ко мне, а этот лист не был обращён ни к кому. Он был спрятан не для того, чтобы я нашла. Он был спрятан, чтобы не нашёл никто.

И всё-таки его положили в мою коробку. Под дно. Тот, кто прятал так, чтобы не нашли, положил его туда, откуда я, если возьмусь за коробку по правилам, обязательно достану.

Он знал мои правила. Он знал, что я начну с тары. Не в этот раз — так в следующий.

* * *

На работе я сделала то, чего делать не собиралась: пошла в дальний фонд и подняла старые запросные дела, где подшиты бланки из ведомства.

Мне нужно было сравнить. Одно дело — узнать форму по памяти, другое — положить рядом настоящий бланк и убедиться, что сетка та же, шапка та же, полоса по краю того же цвета.

Я нашла три бланка в трёх разных делах. Разложила рядом со своим.

Сетка совпала. Шапка совпала. Полоса совпала. Мой бланк был из этого же ведомства, той же печати, того же года выпуска формы — я определила по мелкому типографскому знаку в углу, который меняют, когда перепечатывают тираж.

Но было и различие, и оно меня остановило.

В трёх архивных бланках графа «присутствующий при исполнении» была заполнена другой рукой, чем «заказчик». Разные люди, разные почерки — как и положено: один заказывает, другой удостоверяет. Во всех трёх. Это было правило, и правило соблюдалось.

Только в моём заказчик и присутствующий были одной рукой.

Из четырёх бланков, легших передо мной, три были правильные. Четвёртый — отцовский — единственный, где человек стоял за двоих.

Я сложила архивные обратно, подшила, поставила дела на место. И унесла с собой одно знание, которого до архива у меня не было: так не делали. Ни в одном из сотен дел, что прошли через мои руки, заказчик не расписывался за присутствующего. Отец сделал то, чего не делал никто.

Перед тем как уйти из фонда, я ещё раз посмотрела на затёртое место, где был номер. Затирали аккуратно, но начало первого знака уцелело — маленький хвостик под бахромой волокон. Я подвела лупу.

Это была буква, не цифра. Номера в этом ведомстве начинались с буквы — индекс серии, а потом цифры. Буква сохранилась наполовину, но верх её я узнала.

Та же самая. Внутри отцовских часов. Под стёртой подписью в книге актов. И теперь — в начале затёртого номера на бланке, который прятал, что он был один.

Четвёртый раз за неделю. Одна буква, и каждый раз — там, где что-то стёрли, затёрли или не дописали.

* * *

На работу я пошла с бланком в кармане куртки.

Не для дела — просто не смогла оставить его дома, лицом вниз, одного. Всю дорогу я держала на кармане руку, как держала в первый день коробку на вытянутых руках.

И на середине пути поймала себя на мысли, от которой остановилась посреди тротуара.

Я знала, куда в этом бланке вписывается объём.

Не «категория», не «срок» — а объём. Пустая графа, третья сверху, узкая. Я знала, что в неё вписывают не литры и не килограммы. Я знала, в каких единицах, и знала, что цифра там бывает маленькая, редко больше единицы. Я знала это так же твёрдо, как знаю свои бланки выдачи, — а этот бланк я держала в руках первый раз в жизни.

Я попробовала объяснить это привычным способом. Восемь лет я читаю формы; может, я видела такую мельком, в чужом деле, и забыла, а рука запомнила. Так бывает: помнишь навык, не помня урока. Я перебрала все ведомства, чьи бланки проходили через меня, все дела, все запросы. Такой формы среди них не было. Я бы её вспомнила — её ни с чем не спутаешь.

И всё-таки я знала третью графу изнутри, как знают только то, что заполняли сами.

Самое тяжёлое признание начинается словами: «Я мог».

Я мог знать эту форму только одним способом. Но этого способа я себе не называла — стояла на тротуаре, держала руку на кармане и не называла, потому что, пока не назвала, оно ещё не было правдой.

Мимо шли люди, обходили меня, как обходят столб. Я стояла и держала в кармане бланк, на котором один человек расписался за двоих, и понимала про себя ровно то же, что про него: я тоже знала об этой форме больше, чем можно объяснить тем, что я о ней узнала.

Двое, знающих то, чего знать не должны. Он — на бумаге. Я — на тротуаре.

Я дошла до работы, села за свой стол, достала бланк и положила перед собой лицом вверх. Рядом легли восемь чёрточек из блокнота, лист версий, копия с прочерком. Дело моё стало на один документ толще и на один вопрос темнее.

Раньше все вопросы были про отца: кто он, куда ушёл, что сделал. Этот бланк впервые задал вопрос про меня. Не «что он заказал», а «откуда я знаю, куда вписывают объём». И на этот вопрос отвечать было страшнее, потому что отца я могла искать или не искать, а от себя не уйдёшь.

Я перевернула бланк лицом вниз и вернулась к работе. До вечера я описала одиннадцать чужих квартир и ни разу не подумала об отце. Про себя я думала весь день.

Раз, два, три, четыре.

Глава 9. Разнотение

Первое письмо я решила перечитать перед тем, как убрать папку в шкаф.

Не для дела — для порядка. Я подшивала бумаги за неделю, дошла до письма и открыла его в последний раз, чтобы свериться с заключением: цитату я выписывала по памяти, а сверять цитату с оригиналом полагается перед тем, как дело закрыть. Это привычка, а не подозрение. Я делаю так с каждым делом.

Неделя вышла длинной. За восемь дней я узнала больше людей, чем за предыдущий год: Ноэль, Соль, Лиор, женщина в бюро. Завела дело на пять документов, потом на шесть. Каждый вечер что-нибудь прибавлялось, и я привыкла к тому, что коробка знает мою жизнь наперёд. К письму, которое я перечитывала сейчас, я относилась спокойнее всего: оно было первым, самым понятным, и заключение по нему я помнила наизусть.

Я развернула лист.

Коробку выдали. Значит, меня признали, и всё идёт как надо.

В ней пять предметов. Пересчитывай.

Не приезжай одна.

Я перечитала последнюю строку.

В моём заключении стояло «не приезжай». Два слова. Я помнила, как выписывала их: как подчеркнула вторую строку, как поставила точку. Два слова, и на них строилась вся мысль про то, что «не приезжай» пишут тому, кто знает адрес.

На листе было три слова. «Не приезжай одна».

* * *

Я достала заключение и положила рядом.

Своей рукой, чёрным по белому: *последняя строка — «не приезжай»*. Дата. Подпись. Всё как я оставила.

Два слова в заключении. Три — в письме.

Я взяла оба листа к лампе.

Бумага письма целая. Ни подчистки, ни подклейки, ни второго слоя. Я прошла лист поперёк световой полосой: подчистку видно всегда — там, где скоблили, волокно взлохмачено и просвечивает ярче. Ровно. Проверила на вставку: если бы «одна» вписали в готовую строку, между «приезжай» и «одна» сбилась бы интервал, буквы прижались бы теснее или разошлись. Интервал был ровный, как во всей строке. Проверила чернила под лупой: «одна» той же густоты, того же оттенка, с той же бурой каймой по краю штриха, что и «не приезжай».

И главное — оборот. Я перевернула лист. Под словом «одна», на изнанке, проступал тот же бурый прожог, что под всеми остальными словами. Железистые чернила годами едят подложку изнутри; свежая надпись такого следа ещё не даёт — ей нужны годы. Прожог под «одна» был такой же старый, как под «не приезжай». Значит, «одна» лежало на этом листе не позже остального. Столько же лет. С самого начала.

Я проверила это трижды, тремя способами, которыми проверяю подчистку. Письмо было подлинным и нетронутым. Слово «одна» стояло в нём столько же, сколько само письмо.

Я вернулась к заключению.

Заключение тоже было подлинным. Моя бумага, мой почерк, моя подпись, мои чернила. Никто не стирал в нём «одна» — там его никогда и не было. Я не описалась: рядом с цитатой я выписала разбор, и весь разбор построен на двух словах. Нельзя случайно пропустить слово и при этом выстроить на его отсутствии целую мысль.

Внизу заключения стояла моя подпись. Имя, должность, отдел — как всегда. Я всматривалась в неё дольше, чем нужно.

Подпись удостоверяет: я, такая-то, прочла документ и заверяю, что переписала верно. Моя подпись стояла под цитатой «не приезжай», которой в письме больше не было. Я собственной рукой поручилась за два слова, а на бумаге теперь стояло три.

Из всех документов недели этот был единственный, где подписалась я сама, за себя, никого не подделывая. И именно он не сходил с оригиналом. Отец расписался за двоих на бланке — и обе подписи были неправдой. Я расписалась за себя одну на заключении — и моя единственная подпись тоже удостоверяла то, чего в письме нет.

Я отодвинула эту мысль. Она вела не туда. Отец подделывал сознательно, а я просто выписала цитату — и, значит, если что и не так, то не с подписью, а с письмом, которое с тех пор стало длиннее.

Два подлинных документа. И они расходились на одно слово.

Восемь дней вокруг менялось всё, и я привыкла быть тем единственным прибором, которому доверяю. Прибор не ставят под сомнение из-за одного показания. Прибор сверяют. Я и стала сверять — не себя, а всё остальное.

* * *

Я сфотографировала оба — письмо и заключение, — потому что фотография не осыпается и не спорит. Потом села и стала думать, как думаю над любым расхождением.

Расхождение между двумя документами имеет только три причины. Первая: один из них подделан. Оба проверены — оба подлинные. Вторая: их писали в разное время и что-то изменилось между. Заключение я писала два дня назад, письмо старше на пятнадцать лет — за два дня в железистых чернилах ничего не сдвигается, я бы увидела. Третья: между документами есть посредник, который внёс ошибку при переносе.

Посредником была я.

Я переносила слова с письма в заключение. Между письмом и заключением стояла моя рука и то, что ведёт руку. И если оба листа подлинные, а расходятся, — значит, ошибка вошла на переносе. Я записала не то, что стояло на письме.

Я перечитала эту мысль и не приняла её.

Я не ошибаюсь в переносе. Восемь лет я переносу цитаты из документов в заключения, слово в слово, и за восемь лет меня ни разу не поймали на пропущенном слове, потому что я проверяю каждую цитату дважды: записал — сверил. Я и эту сверяла. Я помню, как сверяла. «Не приезжай» — два слова, сверено, подчёркнуто.

Значит, дело не в переносе. Дело в письме.

Письмо изменилось. Другого объяснения, при котором я права, не было, — а я привыкла быть права насчёт бумаги.

* * *

Я набрала Соль. Номер был на обороте конверта, мелко, в углу.

Гудки шли долго.

— Дом писем.

— Это Мира. У меня вопрос про письма. Не про моё — вообще.

— Спрашивайте.

— Бывает так, что письмо меняется? Не портится, не выцветает — меняется текст. Стояло два слова, стало три. Бумага целая, правки нет. Такое бывает?

Соль молчала. В трубке был тот же глухой подвал, что и всегда, и в этом подвале её молчание длилось дольше, чем длится обычная пауза.

— С письмами — нет, — сказала она наконец. — Бумага не умеет менять то, что на ней написано. Написанное держится ровно столько, сколько держится бумага.

— Я так и думала.

— Меняется не письмо, — сказала Соль. — У меня в сумке двадцать лет лежат письма. Ни одно не переменяло ни буквы. А вот люди, которые их писали, и люди, которым они, — те

менялись. Одно и то же письмо тот же человек через десять лет читает другим. Слова стоят, а он под ними другой.

— Я не про то, как понимают. Я про сами слова. Их стало на одно больше.

Снова молчание.

— Был у меня один человек, — сказала Соль медленно, и я поняла, что она говорит не мне, а куда-то мимо, как говорила про сумку. — Носил в кармане письмо. Каждый день доставал, перечитывал. Клялся, что помнит его наизусть. А потом однажды прочёл вслух — и прочёл не то, что там стояло. Не соврал, нет. Он был уверен, что читает как есть. Просто у него в голове письмо было одно, а на бумаге — другое, и он этого не видел.

— Как не видел? Буквы же перед глазами.

— Буквы перед глазами, — согласилась Соль. — А читал он не буквы. Он читал то, что помнил, и накладывал сверху. Знаете, как смотришь на знакомое слово с опечаткой и не замечаешь опечатки, потому что глаз подставляет правильное. У него весь текст так стоял. Он видел своё поверх написанного и был честен: он правда это видел.

Соль помолчала.

— Чтобы потерять прошлое, необязательно его забывать. Достаточно однажды вспомнить неправильно. Один раз запомнил чуть-чуть не так — и с того дня помнишь уже неправильное, и оно тебе роднее настоящего. А проверить нечем: память не показывает, где она соврала.

— И что с ним стало?

— Ничего страшного, — сказала Соль. — Он до конца жил с тем письмом, которое помнил. Так спокойнее.

Я хотела спросить, при чём тут я, — и не спросила, потому что при мне тут было ни при чём. У того человека письмо было одно, а помнил он другое. У меня заключение и письмо расходились на слово, и заключение я написала сама, два дня назад, в здравом уме, и сверила. Это разные вещи. Его подвела память. Меня — нет: у меня есть запись.

На секунду — только на секунду — я всё-таки приложила его историю к себе. А если и у меня так? Если «не приезжай» — это моё «поверх», а «не приезжай одна» — то, что на бумаге всегда и стояло?

И тут же отложила эту мысль, потому что она не сходилась с фактами. У того человека не было записи — только память. А у меня запись есть, вот она, с подписью. Он не мог себя проверить. Я — могу: беру заключение, беру письмо, кладу рядом. Я уже проверила. Заключение говорит «не приезжай». Значит, два дня назад на письме стояло «не приезжай». Заключение — свидетель. Свидетелю я верю больше, чем бумаге, которая почему-то стала длиннее.

Так я рассудила и успокоилась. Заключение — свидетель, и свидетель этот безупречен: у него моя подпись. В любом деле безупречный свидетель — тот, кого не проверяют. Своё заключение я не проверяла ни секунды. Его я поставила в основание всей проверки — и оттого вся проверка вышла такой стройной.

— Спасибо, — сказала я.

— Перечитайте все, — сказала Соль перед тем, как положить трубку. — Сразу. И запишите. А через день перечитайте снова и сверьте с записью. Если сходится — вам показалось. Если нет — будете знать точно.

Она не сказала, что я узнаю. Она сказала — буду знать точно. Это разные вещи, и она их развела нарочно.

* * *

Я разложила на столе то, что уже читала.

Читала я к этому вечеру немного: первое письмо из коробки и восьмое, которое принесла Соль. Остальные шесть конвертов стояли невскрытыми — я не вскрываю письма поперёд очереди, сначала опись, потом чтение, и до них очередь не дошла. Их я трогать не стала. Расхож-

дение, если оно есть, надо искать там, где есть с чем сравнить, а с чем сравнить у меня было только по двум письмам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.